Александр Штейн

И не только о нем...

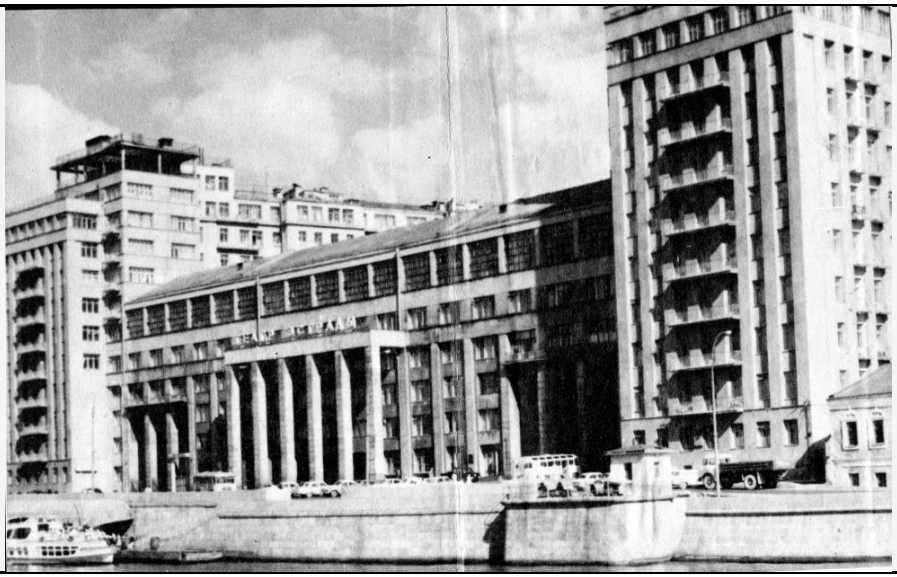
SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Повесть А. Штейна посвящена жизни, деятельности и драматической судьбе известного ученого-биохимика Бориса Ильича Збарского, получившего и выполнившего правительственное задание — физически сохранить тело Ленина. Судьба Збарского прочно вписана в свое время, а это — двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. Писатель рассказывает о трагедии, которую видел и пережил сам, о том, что испытали и пережили его близкие и родные.

- И не только о нем...
  -
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - ИЛЛЮСТРАЦИИ
- notes
  - 1

И не только о нем...



Б. И. Збарский

Александр Штейн

И не только о нем...

ПОВЕСТЬ

Москва • Советский писатель • 1990

Часть первая

31 ДЕКАБРЯ 1953 ГОДА, когда до Нового, пятьдесят четвертого, осталось не больше трех часов и все мои домашние, как все домашние в семьях всего земного шара в эту пору, были одержимо охвачены такой бессмысленной и такой милой суетой, зазвонил телефон.

Он зазвонил, как уже звонил бессчетно в этот вечер, пронизанный завтрашним незнаемым и уж наверное чем-то необыкновенным и прекрасным, то я поздравлял, то меня поздравляли, то поздравляли жену, то жена поздравляла, то — дочка, то — дочку, говорилось всякий раз, в общем, одно и то же, но то, что в другой раз казалось банальностью, слышалось в тот вечер, как никогда, телефонные провода давали в московские квартиры и, наверное, в квартиры многих других российских городов ток высокого человеческого напряжения.

Это был и очередной Новый год, но было в нем вместе с тем нечто внеочередное.

Да, именно ВНЕОЧЕРЕДНОЕ…

Я и не разобрался вначале, кто поздравлял, как всегда, стереотипными формулами, хоть и сразу же голос показался знакомым — мягкий, сдержанно ровный, каким говорят опытные, знающие цену себе и своим словам врачи, ставя диагноз нервничающему пациенту. Показался знакомым, но не узнал, а пальцы почему-то вдруг, сами собой потянулись к пачке сигарет, словно бы позабыв, что брали их в последний раз в жизни пять лет назад, когда я бросил курить.

Зажег спичку, затянулся глубоко, усмиряя сердце, забившееся в волнении. А в трубке молчали, лишь чувствовалось сдерживаемое дыхание.

И я, веря и не веря, нет, уже веря, ведь нельзя было не верить, ведь так оно и должно было быть тридцать первого декабря одна тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, сказал негромко в по-прежнему молчащую трубку:

— Борис Ильич? Спасибо. Вас — тоже.

…Еще вчера, 30 декабря, в тот незабываемо врезавшийся в его память вечер, он не знал ничего — ни того, что умер уже немало месяцев назад Сталин, ни того, что уже схвачен и уничтожен Берия, не знал, где жена, что с ней, что с сыновьями, где они, не знал вообще, что происходит в Москве, в стране, в мире, и не знал, что произойдет через день, час, минуту с ним самим.

Сгустились зимние сумерки, вежливый полковник с Лубянки, надвинув папаху, пригласил его, арестанта, сесть в автомобиль, и машина медленно поехала по московским улицам, по-новогоднему шумным, искрящимся в жемчужных снежных россыпях, и так же, как ему нередко представлялось тяжким, удушливым, кошмарным сновидением все, что было с ним за эти два года, так и сейчас были сном, счастливым, по-детски безмятежным, эти перекрестки с потоками пешеходов, ждущих, когда вспыхнет зеленый свет, этот волшебный снежок, раздвигаемый автодворниками с ветрового стекла, эта морозная, лучистая снежная пыль, резвящаяся перед подфарниками, эти дворничихи на кромке тротуаров, в своих белых передниках поверх толстенных тулупов, похожие на снежных баб с помелом. Он даже слышал и не слышал того, что спеша и сбивчиво говорил ему полковник в папахе, а он как раз говорил о смерти Сталина и о том, что врачи-убийцы не убийцы, а безвинные жертвы убийц, и он ничего не понимал, какие врачи, какие убийцы, и только механически кивал головой, и в голове туманилось, и сладостный сон длился, и, только услышав предупреждающий резкий гудок встречной «Победы», обрадовался, и заулыбался, и вспомнил вслух, что, хотя он провел эти два года в середине Москвы, ни разу не донесся до него этот автомобильный гудок.

Полковник больше ничего не успел ему рассказать и объяснить — машина уже въезжала в какой-то двор. Его проводили по коридору в чью-то приемную, затем открыли дверь в кабинет, — навстречу уже шел человек, которого он не знал, как он не знал ничего. А между тем это был Генеральный прокурор СССР Роман Андреевич Руденко, чье имя стало знаменитым во всем мире после Нюрнбергского процесса нацистских военных преступников, — Руденко был Главным обвинителем от СССР.

Генеральный прокурор протянул ему обе руки, обнял, усадил в кресло, он сел и тотчас же, необъяснимо, но всем существом, со всем убеждением ощутил, что вот тут, в этом кресле, в которое его усадил Генеральный прокурор, совсем недавно, быть может, только-только, сидела его жена, Евгения Борисовна, мать его двух младших сыновей, о которой он ничего не знал.

Да, он все еще ничего не знал о судьбе жены, не знал, что печальным следом за ним была арестована и она, получила статью вскоре, срок десять лет, отправлена на Волгу, в какой-то лагерь, где ей, поскольку она имела диплом, полученный задолго до прихода фашистов к власти в Берлинском университете, — ей посчастливилось попасть в лагерный околоток на должность медицинской сестры.

Кто-то принес и что-то положил на стол. Дивясь, он, однако,

тотчас узнал — это были его документы, отобранные при аресте, его паспорт, его лауреатские удостоверения, даже его шоферские права.

И сызнова кто-то принес еще и внушительные пачки облигаций государственных займов, ему принадлежащих.

Положили и разложили на столе три ордена Ленина — три, два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медаль Лауреата Госпремии СССР, Звезду Героя Социалистического Труда. Все это мерцало в отсветах настольной лампы, отливая золотом, посверкивая эмалью. Его ордена, его медали. Его Звезда. Он был в числе немногих тогда ученых, кавалеров этой Звезды.

Помощник присел к маленькому столику, делая обстоятельную опись документов, записывая номера облигаций, все это, отобранное при аресте, положено было вернуть под расписку.

И тут он, как бы дремавший все это время, очнулся, нетерпеливо мотнул головой, пришла в движение его давняя деятельная жилка, — если это действительно не только счастливое сновидение, а сущая реальность, он не мог больше ждать ни одного часа, ни минуты, ни секунды. И Генеральный прокурор все понял, сунул, почему-то чуть подумав, ему в карманчик пиджака шоферские права и опять, чуть подумав, посоветовал: к сыновьям лучше бы явиться «вот так», и привинтил Звезду Героя.

— Уместно ли? — спросил прокурора.

— Уместно. И даже очень, — сказал Генеральный прокурор.

В той же машине, с полковником в папахе, он ехал к себе домой, на улицу Серафимовича, два, и несколько удивился, когда автомобиль поехал не туда, не в дом на набережной, именуемый в московском просторечии Домом правительства, где была его квартира, а совсем в другом направлении, куда-то к Арбату.

Вот тут-то все и кончится — внутренне усмехнувшись, пошутил он над собою, тем более что они почему-то вдруг резко свернули в какой-то арбатский переулочек, въехали в какой-то вовсе незнакомый двор, поднялись по неказистой лестнице; доведя его до цели, на лестничной клетке полковник почтительно распростился, приложив руку к папахе, и сбежал вниз, он, толкнув дверь, вошел в незнакомую дотоле явно коммунальную квартиру, постучался, как ему было сказано, в дверь в глубине коридора, вошел, и навстречу поднялась сидевшая на высокой кровати немолодая женщина с усталыми, почти безразличными глазами, в ватнике-телогрейке, в простых толстых коричневых чулках, та самая, которая, он это тогда необъяснимо, но

непреклонно почувствовал, действительно сидела еще час-полтора назад в кресле у Генерального прокурора. Его жена и мать его сыновей. Евгения Борисовна.

На следующий день было, вероятно, около девяти вечера, когда он позвонил мне.

Захватив случайно купленные два дня назад и так пригодившиеся сейчас две высокие бутылки немецкого мозельвейна, мы с женою и дочерью Таней, студенткой медицинского института, того самого, где он вел курс лекций на кафедре биохимии, отправились по адресу, который он сказал по телефону.

Встретил, словно бы расстались вчера и словно бы принимал нас не в чужой коммунальной квартире, а там, на набережной, или на его даче, в Серебряном Бору.

Старшего сына, Ильи, уже не было, он ушел недавно, другой сын, Феликс, стоял тут и то и дело, нервничая, выходил в коридор покурить. Младший сын, Витя, уже вернулся в Москву, невестка, жена Феликса, отправляла осиротевшего мальчика к своим родным, в Тбилиси…

А Евгения Борисовна смотрела на нас молча, она так нечеловечески устала и от внезапно обретенной свободы, и от встречи с семьей, и от всего, всего происшедшего, — не было сил ни спрашивать, ни отвечать…

Только вдруг сказала, что, если бы сдавался где-нибудь на реке, например на Волге, маленький-маленький домик, она бы хотела поехать туда и там жить, тихо, тихо…

А он, улыбаясь, смотрел на нас, ничего не рассказывал, лишь с живым любопытством расспрашивал про общих знакомых, про нашего маленького шестилетнего сына, про мои литературные дела, а когда я позволил себе задать вопрос, который пока еще наивно задавали вернувшимся людям в таких случаях, — «за что?» — брезгливо поежился и словно бы невзначай, как бы вскользь, заметил, что если справедлива была бы десятая, да почему десятая, сотая часть предъявленных ему следователем обвинений, то и тогда полагалось бы его расстрелять.

— Я бы сам себя расстрелял, если б еще и умел стрелять, — добавил он своим ровным голосом, с мягкой и, как всегда, сдержанной улыбкой.

И оглянулся по сторонам. Как выяснилось, ища пробочник.

Пока доставали немногие бокалы у соседей по коммунальной квартире (в ней теперь, оказывается, как выяснилось, жил с женою переселенный из Дома правительства Феликс), Борис Ильич добавил негромко, опять-таки вскользь, что «к этому

вопросу, то есть «За что?», как и вообще к тому, что же с ним в конце концов произошло, он ни в коем случае возвращаться не настроен, нет, не расположен — категорически.

Что ему ничего не надо.

И что ему ничего не хочется.

Тут молчавшая долго Евгения Борисовна согласно кивнула:

— И мне.

Что касается Бориса Ильича, это оказалось пока еще неосознанной, но заведомой неправдой — уже на другой день он, сам того не понимая, окажется на шумном и грохочущем Садовом кольце, около дома, где находилась кафедра биохимии, которую он, окруженный преданными ему учениками, занимал уже не один год, и, войдя в свой кабинет, заявит, и притом в категорической форме, что готов и хочет безотлагательно продолжить курс, что вел до того, как пришел час, тот злой, чудовищный, о котором он столь же категорически не желает вспоминать.

…Нашелся пробочник, принесли бокалы, откупорен выдержанный немецкий мозельвейн, который он пил еще там, в Берлине, задолго до Гитлера, вместе с будущей женою, когда она еще была студенткой Берлинского университета.

— Правда, Евгения Борисовна больше всего любит не «мозельвейн», а «осотеро», другую марку, — шутливо заметил он, лукаво взглянув на жену. Она не улыбнулась.

Чокнулись. Выпили. За этот, одна тысяча девятьсот пятьдесят третий, начавшийся очередным кошмаром год, в конце концов оказавшийся, на своем исходе, столь необыкновенно и бесконечно прекрасным для него, и для его жены, и для его сыновей, и для всех нас. И за еще не начавшийся, но настойчиво стучавшийся в двери этой самой в этот вечер уютнейшей коммунальной квартиры, год одна тысяча девятьсот пятьдесят четвертый, и за все то, что этот год принесет, должен принести стране, планете, человечеству.

— И за то, чтобы никогда не возвращаться к этому вопросу, — заключил он, светло улыбаясь, — ни вам, ни мне, да никому на свете, избави боже…

И традиционный тост показался после этого заключения наполненным совсем иным, не традиционным смыслом…

А крохотная и трогательная рождественская елочка на сем скромнейшем новогоднем столе алмазно засверкала огоньками надежды…

И я позавидовал остро, всем сердцем этому человеку с его

великим талантом смотреть не назад, а вперед.

НА ВСТРЕЧУ С НОВЫМ ГОДОМ, как известно, опаздывать не принято.

Но мы опоздали, по вполне понятной вам и очень уважительной причине.

Мы встречали этот Новый год, как и несколько предыдущих, в Центральном Доме работников искусств — ЦДРИ.

В эти послевоенные годы так случилось, что именно ЦДРИ стал средоточием духовных контактов, встреч, общений не только актеров и режиссеров театров, здесь встречались читатели — с драматургами, прозаиками и поэтами, зрители — с крупными артистами, художники — с любителями изобразительного искусства, в фойе систематически устраивались выставки живописи, станковой, театральной, прикладного искусства, были живые дискуссии, обсуждения, творческие вечера с фрагментами из спектаклей.

Душой всего этого был мой старый друг по ленинградской юности, милейший и страстнейший энтузиаст художнических контактов Борис Михайлович Филиппов.

Особым предметом его ежегодной заботы была встреча Нового года.

ЦДРИ любили, и там, на встречах Нового года, бывали столы художников и архитекторов, актеров и режиссеров, писателей и композиторов. На Новом году там можно было увидеть Николая Охлопкова и Юрия Завадского, Ангелину Степанову и Александра Фадеева, Валерию Барсову и Леонида Утесова, Веру Марецкую и Ростислава Плятта, Валентина Катаева и Бориса Ефимова, Романа Кармена и многих, многих других, чьи имена являют славу искусства и литературы.

Так было и на сей раз.

Мы пришли, когда уже и пробили Кремлевские куранты, воспетые Погодиным, и прозвучали новогодние приветствия, и прозвенели бокалы и уже пошли традиционно, в первый вальс режиссер Сергей Юткевич и его жена, балерина Большого театра Елена Ильющенко, и Никита Богословский произносил свою первую удачную остроту в новом, 1954, году и даже Иван Козловский, казалось, скоро споет традиционный старинный романс под бурные аплодисменты праздничного зала… Многие с удивлением смотрели на нас, шедших к своему столу со столь большим опозданием… И когда заждавшиеся наши друзья обратились к нам с немым вопросом, мы сказали два слова:

— Збарский вернулся.

Збарского знали люди искусства, и он их знал и любил, и

новость эта сразу же пронеслась от стола к столу, прошелестела радостным облегчением и добрым предзнаменованием…

Збарский вернулся.

АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР

Московское отделение

Всесоюзного биохимического общества АН СССР

100 лет

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Москва 1985 г.

22 октября 1985 г. в 15 часов в конференц-зале Института биохимии им. А. Н. Баха АН СССР (Москва, Ленинский проспект, 33, корпус 2. Метро «Ленинский проспект»; Автобусы: 108, 11, 196, Троллейбусы: 4, 7, 33, 62) состоится заседание, посвященное 100-летию со дня рождения

Героя Социалистического Труда,

академика АМН СССР профессора

БОРИСА ИЛЬИЧА ЗБАРСКОГО

Программа заседания

22 октября 1985 г. Начало в 15 часов

Вступительное слово

Жизнь и научное творчество Б. И. Збарского

Профессор Н. И. Демин

Гипотеза Б. И. Збарского о тумопротеинах и современные представления об онкогенах и онкобелках

Член-корреспондент АН СССР

профессор Г. П. Георгиев

Воспоминания.

На внутренней стороне пригласительного билета — портрет Б. И. Збарского.

…На меня смотрит знакомое лицо, светящиеся добрым желанием глаза, приветливая улыбка на губах…

Евгения Борисовна Збарская, ровесница пека, умерла весной 1985 года, восьмидесяти пяти лет от роду, не дожив до празднования столетия мужа, — столетия, которого она так ждала, — умерла, не дожив нескольких месяцев.

Боже мой, сто лет! Ну да, сегодня и не представишь, что человек, еще недавно, казалось бы, тесно друживший с нами, родился в девятнадцатом веке и даже прожил в прошлом столетии свои первые пятнадцать лет…

Мы с женою и дочерью держим в руках торжественные и деловитые пригласительные билеты на научное заседание. Несомненно, это сыновья Збарского, Илья Борисович и Виктор Борисович, пошедшие по стопам отца (первый — академик АМН СССР, второй — кандидат биологических наук), позаботились о

том, чтобы те, кто любил их отца, и те, кого он любил, пришли на юбилейное заседание.

…Конференц-зал, набитый до отказа. Стало быть, жива память, стало быть, ценили и ценят, уважали и уважают.

И молодых лиц немало.

Доклады читались и слушались не формально, не из почтения перед юбиляром — даже мне, полному профану, многое из них показалось и важным, и современным, и даже — увлекательным.

Все было на редкость уважительно, достойно, дедово.

На кафедру поднимались и те, кто знал его с юности, и академики, высоко оценивающие его роль в науке и в организации науки, его классические труды «Биологическая химия» и «Практикум по биологической химии», создание им Биохимического института Наркомздрава РСФСР, и создание Института питания, и многое, многое другое. Слушали мы и тихое слово о нем тех, кого в трудную минуту и в трудные годы поддержал Борис Ильич своим неравнодушным вмешательством…

Помнится, глубоко тронул сутуловатый, угловатый, длинный человек, с печатью нелегко прожитой жизни на словно бы иссохшем лице — это когда уже перешли к воспоминаниям, — его сбивчивое слово, прервавшееся вдруг сдерживаемым рыданьем, было памятью о своей матери. Ее, без вины попавшую в заточение, с великими препятствиями, понятными и обычными всякому жившему в те времена, все-таки удалось вызволить из темницы. Удалось — Борису Ильичу. Из темницы, в которую впоследствии попал и сам Збарский.

Юбилей, его, так сказать, официальная часть была прекрасно продолжена в более интимной обстановке одного из залов находившегося неподалеку ресторана гостиницы «Белград». Сыновья Бориса Ильича пригласили сюда близких друзей отца, его учеников и соратников. Среди приглашенных — и вдовы ушедших. Разговорились молчавшие там, на заседании, и разговор пошел домашний, веселый, припоминали многое забавное, случившееся в жизни Б. И., часто был слышен смех, и казалось, смеялся от души и сам Борис Ильич, он, невидимым, тоже был с нами…

Рассказал и я — о той бескорыстной любви, которую всю жизнь свою испытывал Борис Ильич к людям искусства, и его дом на набережной, и его дача в Серебряном Бору стали желанными очагами общений интеллигенции Москвы, где и кипели споры, и

просто веселились, и даже пели…

И вот уже не пригласительный билет с золотой каймой, приглашающий на столетие, а другой документ, траченный временем.

Слева — фотография молодого человека в белой сорочке с галстуком-бабочкой.

«Действителен с « » час.

Рукою написано: «КРУГЛЫЕ СУТКИ», печать — Московский Кремль.

ПРОПУСК № 22

Тов. Збарский Б. И.
Должность — профессор
Место службы — Мавзолей В. И. Ленина.

Нач. гарнизона и комендант. Моск. Кр.

(подпись).

Это пропуск, сохранившийся и переснятый ежемесячником вопросов и ответов в журнале «Собеседник» в седьмом номере за 1985 год в связи со столетием Б. И. Збарского…

НЕСКОЛЬКО ЭНЦИКЛОПЕДИЙ отразили драматические колебания его судьбы.

Первые добрые упоминания о нем я обнаружил еще в дореволюционном словаре «Гранат», в первых послереволюционных томах, вышедших уже после Октября, — рядом с именами знаменитейшего академика и революционера-народовольца Александра Николаевича Баха, имя которого присвоено Институту биохимии, и известного ученого и революционера Льва Яковлевича Карпова, имя его присвоено Физико-химическому институту. Об этих людях речь будет впереди.

Вместе с их именами есть справки о Б. И. Збарском и в нынешнем Энциклопедическом словаре — издания 1983 года:

«Сов. биохимик, акад. АМН (1944), Герой Соц. Труда (1945), иссл. строение и биол. функции и обмен белков. Тр. по онкологии. Участвовал в бальзамировании тела

В. И. Ленина. Гос. пр. СССР (1944)».

Однако в более раннем издании Большой Советской Энциклопедии, в томе на букву «З» фамилии Збарского вовсе нет.

Почему? А очень просто и, я бы сказал, понятно. Том-то был подписан к печати, как значится на нем, в октябре 1952 года. А в этот год имени Збарского как арестованного врага народа не было и не могло быть в Большой Советской Энциклопедии, будь это имя упомянуто, редактор тома понес бы серьезное наказание…

А вот в 51-м, дополнительном томе Большой Советской Энциклопедии, подписанном к печати 28 апреля 1958 года, снова находим, наряду с биографиями посмертно реабилитированных государственных и партийных деятелей, военачальников и хозяйственников, и обстоятельную справку о реабилитированном прижизненно Борисе Ильиче. Из нее читатель, в частности, узнает, что в 1945—1952 гг. (до дня ареста) Борис Ильич руководил лабораторией биохимии рака в Академии медицинских наук. Ряд работ ученого посвящен выяснению роли эритроцитов в обмене белков. Тут же — о том, что «разработал и способствовал организации заводского способа производства наркозного хлороформа (1915) и выдвинул теорию, согласно которой в основе злокачественного роста тканей лежит извращение процессов синтеза белков». Ему же принадлежит идея антисептического препарата «бактерицит».

Наконец, в дополнительном томе опубликовано то, что ранее было почему-то тщательно законспирировано: «В 1949 году возглавлял группу советских ученых, которая бальзамировала тело Г. М. Димитрова».

Как случилось, казалось бы, невероятное?

А вот — случилось.

Как произошло, что человек, преданный священному делу науки и священному делу Ленина, человек, чье имя, и жизнь, и судьба предназначены Революцией быть связанными с Памятью нашей земли и нашей планеты, оказался в одиночке, на Лубянке?

Правда светлее солнца, говорит мудрая русская пословица. И не зря писал Александр Твардовский о том, что относится, собственно, ко всем нам…

И все от корки и до корки,
Что в книгу вписано вчера,
Все с нами в силу поговорки
Насчет пера и топора…

И правда дел — она на страже,
Ее никак не обойдешь,
Все налицо при ней — и даже
Когда молчанье — тоже ложь.

И фигура умолчания, когда празднуется столетие со дня рождения ученого, отдавшего тридцать лет своей жизни сохранению памяти о Ленине, была бы непростительной, просто была бы такою же ложью.

Когда-то, в пору ленинградской моей юности, во времена первой пятилетки запомнился молодой артист, вы ходивший на сцену, освещенный нестерпимым светом «юпитеров», на сцену созданного революцией на Петроградской стороне Красного театра и, всматриваясь пристально в зал, задавал три вопроса.

«Если не здесь — то где же?»

«Если не сейчас — то когда же?»

«Если не мы — то кто же?»

Повторим же и мы эти горящие нетерпением слова.

Надо спешить.

Мое поколение не вправе уйти, недосказав того что оно не сказало в силу разных обстоятельств.

Не передав грядущим поколениям того, что знал ты что пережили твои товарищи, и ты сам, и те, что ушли и те, кто вернулся и те, кто пропал безвозвратно оставив навеки боль и горесть в сердце их современников.

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. В самом названии нечто поэтическое, сказочное… А для меня еще и окрашенное многими событиями, и праздничными и горькими, послевоенной жизни…

Мы с женою не однажды бывали там, два лета, по приглашению Бориса Ильича, провели там всей семьей, приезжали с нами туда и Всеволод Вишневский, и Александр Крон, и Ольга Берггольц, и Юрий Герман, там встречались со многими учеными, в том числе с такой яркой личностью, какой был Алексей Дмитриевич Сперанский…

Дружба наша длилась уже не один месяц, когда однажды, выйдя тихим вечером к реке, в разговоре обнаружилось, что мы, собственно, земляки.

Мой отец родился в Каменец-Подольске, как и Борис Ильич. Более того, выяснилось, что именно отчим моего отца был домашним доктором всей семьи Збарских…

В таких случаях не преминут заметить, что мир тесен.

Мы тоже не забыли сие припомнить.

Итак, родиной Бориса Ильича был Каменец-Подольск, о чем, кстати, теперь никогда не забывают упомянуть тамошние экскурсоводы, как и о том, что именно он, Боря Збарский, чуть не угодил в каменец-подольскую тюрьму, когда перешел в седьмой класс гимназии. Имя Збарского обязательно фигурирует в экскурсионных прогулках по Каменец-Подольску, наряду с Троицким монастырем двенадцатого-тринадцатого веков, и зданием, построенным в 1875 году в стиле русского классицизма, где до 1875 года был небольшой домик, в котором в 1802 году родился и жил польский поэт Мариций Гославский. Потом тут возник отель с роскошным наименованием «Бель-Вю», где и разместился в сорок четвертом, после освобождения города от фашистов, штаб командира славного десятого Уральского танкового корпуса генерала Валова…

Именно на этой улице жила двоюродная сестра Бори Збарского, которая в начале века действовала в революционном подполье и при содействии которой Боря вступил в члены социал-демократического кружка. При этом экскурсовод с гордостью подчеркнет, что именно их земляку правительство поручит «навеки сохранить облик Владимира Ильича Ленина для будущих поколений». И не забудет добавить, что Борис Ильич приезжал из Москвы на родину и останавливался на улице Ленинградской, напротив кинотеатра «Дружба», где теперь общежитие студентов пединститута. В канун Отечественной войны рабочие, ремонтируя крышу этого дома, нашли на чердаке много книг, тетрадей с записями и других разных бумаг, принадлежавших Борису Ильичу…

Вечера, проведенные с ним, хранит память, как и рассказы, всегда исполненные мягкой, чуть грустноватой иронией, даже насмешкой, иногда над самим собою, всегда в них слышалось желание человека, занимающегося наукой всерьез, не выпячивать собственные достоинства, но говорить конкретно, предметно, о чем бы ни шла речь.

Умел рассказывать, но и умел слушать. Ведь это тоже талант…

Упоения собственным голосом он был лишен начисто.

После одного из таких вечеров, после очередной устной новеллы я стал уговаривать его в первый же свободный от науки час засесть за письменный стол и начать свои воспоминания о прожитом и пережитом. Это может быть интересно, увлекательнейше поучительно, а иногда и страшно.

Отговаривался.

Ни в какой степени он не литератор, писательских талантов в себе никогда не обнаруживал. И то, что тронуло, а где-то даже

потрясло, — на бумаге окажется блеклым, бледным, словом, несостоятельным.

Однако я настаивал, и он, помолчав, поднял руку:

— Послушайте! Профану от литературы пришла в голову одна простая мысль. Взять да пригласить стенографистку? И так вот, с маху, начать, да все по порядку, диктовать, раз уж вы так упрямо полагаете, что это на самом деле может пригодиться людям?

На том и остановились.

Успел надиктовать, в урывках между лекциями, около ста тридцати больших страниц машинописного текста, когда работу прервал арест.

Увы, вернуться к ней уже не случилось.

И многое из рассказанного нам оказалось непродиктованным.

Сыновья Бориса Ильича предоставили мне сильно пожелтевшие страницы сорокалетней давности, к ним я присовокупил сохранившиеся у меня записи его рассказов, документы, его книгу о Мавзолее с дарственной надписью, воспоминания, статьи…

Минуло сто лет со дня его рождения.

И есть ли моральное право оставить все, что известно о его Времени, о нем, и не только, не только о нем, в тени Истории?

За огромным резным письменным столом его кабинета, приготовив острые карандаши, сидела в ожидании стенографистка.

В задумчивости он ходил взад-вперед. Остановился перед висевшим в простенке между двумя окнами большим фотопортретом с посвящением:

«Борису Ильичу Збарскому в память о тяжелых временах для СССР. Ф. Дзержинский. 1926 год».

Стенографистка терпеливо ждала.

— С чего же мы начнем? — неожиданно спросил. Растерянно на него взглянула. — Дело все в том, — продолжал он, улыбаясь, — что я очень люблю читать мемуары, зачитываюсь ими допоздна, кстати, вы не обратили внимания, что мемуаристы, во всяком случае некоторые из них, уверяют, притом настойчиво, что у них сохранились воспоминания с двух-трех лет, иные даже убежденно доказывают, что их память начинается и с одного года… — Тут он, прервав, удивленно спросил: — А зачем вы все это пишете? Это я ВАМ говорю.

— Я думала, — смутившись, сказала стенографистка, — это начало.

— Погодите, погодите. Как начало? А впрочем… Пусть это и

будет начало. Стало быть, записали — про памятливых мемуаристов? Пошли дальше. «Нет, я не принадлежу к таким счастливцам и знаю все лишь со слов матери, в частности, что родился хилым ребенком, выносили меня в сад и сажали там на кучу песка. По рассказу же матери, я и не говорил, представьте, до трех лет. И настолько плохо реагировал на окружающий мир, что близкие не были уверены в моем зрении. Да, стыдно признаться, но я производил впечатление полуидиота».

— И это писать? — поморщившись, переспросила стенографистка.

— Несомненно, — подтвердил он и улыбнулся. — Тем более что наш домашний врач, отчим вашего отца — драматурга Александра Петровича Штейна, — успокаивал мать тем, что она имеет еще двух детей, по-видимому считая, что я долго не проживу. Не могу сказать, что это было утешением для моей матери. Но врачи есть врачи, и отчим драматурга, признаюсь честно, не составил исключения. Нет, это не пишите, это уже я говорю вам. Зачеркнули. И хватит — о раннем детстве. Пошли дальше? «Так как наверняка я не доживу до своего столетия, можно начать с года моего рождения. Итак… город Каменец-Подольск, в котором я родился в 1885 году, в те далекие времена находился совсем близко от границы Австро-Венгерской империи. Речка Збруч, пограничная, была всего лишь в 15—20 километрах, впрочем, верстах…» Написали — «верстах»? Тогда счет еще не шел на километры… Можно дальше? «Сам Каменец-Подольск привольно и живописно раскинулся на огромном холме, вокруг которого столь же живописно, красивой петлей извивалась другая речка — Смотрич. Белые домики центральной части города спускаются по крутому берегу к самой-самой речке. Южный мост, так называемый Турецкий, соединяет город с его предместьем — Подзамчей. Мост этот, сложенный из камней еще турками, владевшими тогда Каменец-Подольском, соединял город со старинной турецкой крепостью, ее остатки сохранились по сей день.

Железной дороги не было и в помине. По шоссе, выложенному булыжником, громыхают фаэтоны, запряженные четверками резвых лошадей, тарахтят почтовые брички, в них, яростно размахивая кнутами, гонят лихие ямщики в четырехугольных шапках со сверкающими на солнце медными бляхами. Чиновники вальяжно едут на перекладных.

Почту в городе содержат частные лица на арендных правах. Владелец дома, в котором ваш покорный слуга явился впервые на свет, как раз и был таким содержателем почты. И таким образом, как вы, вероятно, представите сами — все мои детские

воспоминания о родимом крове переплетаются со ржанием лошадей, громыханьем неимоверного количества бричек, памятью о центре почтового двора, о конюшне, в которой стояло по семьдесят — восемьдесят лошадей. Было тут и грубой постройки помещение, где отдыхают ямщики, была и «ожидальня» для пассажиров, она так и звалась — «ожидальня»… Был еще и внушительный склад фуража, сбруи и прочих атрибутов тогдашней почтовой станции. Все это кануло в вечность, однако и навечно осталось в моей памяти… Помню особенно отчетливо двор, вымощенный большими каменными плитами неправильной формы. В памяти и сейчас — жаркий день, солнце ярко светит в безоблачном небе. Выбегаю на двор, замираю от восторга… Сын нашего домовладельца, Люля, сидит на небольшом жеребенке без седла, держась обеими руками за голову лошади. Дворник нашего дома держит лошадку за уздечку и водит ее по двору. Люля старше меня года на четыре, я потрясен тем, что он ездит верхом на самой настоящей лошади. Желая похвалиться перед нами, мальчишками почтового двора, он гордо кличет нас по имени, мы гурьбой бежим за отважным всадничком и визжим от восторга. Вдруг на крыльцо черной лестницы нашего дома выходит мой отец. Это — самое раннее о нем воспоминание. Высокий, худой, с небольшой бородкой… Он идет к дворнику, берет у него из рук уздечку, снимает Люлю с лошади, подхватывает меня одной рукой и сажает на лошадку. Разве передашь словами восторг, которым я был охвачен? Прикасаюсь к теплому, потному телу лошади — живой, настоящей, мои ножки раздвинуты до отказа и плотно прижаты к крупу. Голова кружится от необыкновенной высоты, на которой я неожиданно очутился, ведь сейчас я почти одного роста с отцом! Только подумать! Крепко ухватившись за гриву лошади, смотрю сверху на мальчишек, окруживших нас. Все во мне дрожит от восторга. Отец начинает потихоньку водить лошадку по двору. Сколько нежности и любви я тогда почувствовал впервые к своему отцу, так разгадавшему мою мечту, доставившему мне незабываемое счастье… И долгое время в нашем доме были разговоры о том, как я катался на лошади.

В то время в Каменец-Подольске процветала контрабанда, которая действовала в широких размерах еще и благодаря активному участию в ней местных властей. Близость границы сказывалась. Это обстоятельство сыграло важную роль в скором времени, когда я уже стал гимназистом и впервые столкнулся с деятелями революционного подполья… Но об этом позже, позже… А пока еще кое-что из семейной хроники.

Отец получил домашнее образование, знал географию,

математику, однако никакой профессии не был обучен. Вот на него пал выбор моего богатого деда — он решил сделать его женихом моей матери. Все справки, добытые от сватов и знакомых, были в высшей степени положительные. Исключительно честен. Хотя, увы, небогат. Но деньги дедушке и не были нужны, он сам собирался дать богатое приданое, наводил новые и новые справки, все это делалось без ведома моих молодых родителей, детей тогда не спрашивали, желают они жениться или выходить замуж, родители все решали без них. Дед объявил дочке, что она невеста, и ей стали шить приданое, приготовлять квартиру в одном из домов дедушки, а бабушка даже не смела спросить — как он выглядит, жених ее дочери?.. Наконец назначен день свадьбы, и мой отец с огромным количеством родственников прибывает в Каменец-Подольск. Впервые жених и невеста видят друг друга.

После свадьбы молодые остались жить на полном содержании дедушки. И вот уже через несколько дней после свадьбы моя мать стала несчастной. В первые же дни супружеской жизни она заметила: отец как-то тревожно прячет свои носовые платки. Сначала не придала этому никакого значения. Но однажды утром, проснувшись, когда отец умывался, сильно покашливая, она увидела, что на кровати было большое кровяное пятно, а под подушкой платок, свежесмоченный кровью. Отец понял — скрывать больше нельзя, и открылся моей матери… Оказалось, он уже несколько лет болен туберкулезом, у него частые кровохарканья. Болезнь тщательно скрывалась — родные боялись, что из-за болезни его не удастся женить. А сам он никак не мог предупредить мою мать, так как его согласия на этот брак не спрашивали и впервые он увидел ее в день венчанья. Впрочем, об этом я, кажется, уже вам рассказывал…»

Борис Ильич на мгновение смолкает, погружаясь в далекое детство.

Стенографистка ждет.

— «Это было трагическое признание. Тут же мой отец сказал, что он готов немедленно устроить развод, поскольку совершенно ясно — он не жилец на этом свете… Страшно волнуясь, рассказав все это, ждал он ответа матери. Однако произошло то, чего он не ждал. Мать выслушала исповедь спокойно, не прерывая ни разу. Помолчав, сказала, что готова отдать моему отцу всю жизнь и сделает все для того, чтобы он выздоровел. Моя мать — ее звали Софьей — была очень умна, очень энергична, очень миловидна и по натуре являла собою воплощение жертвенности. Она развивала энергию необыкновенную, когда было надо помочь тому, кто в этом нуждался. Помочь — словом и делом. Всю свою

жизнь, до самой смерти, занималась благотворительностью. И когда дед мой, узнав от нее, что ее муж болен безнадежно, предложил ей разойтись немедля, она сказала в ответ: скорей умрет, чем разойдется с человеком, который болен. Переехала в новую квартиру, где воздух лучше, чище, был при доме садик. Дед смягчился и отправил моего отца за границу для лечения. Тот побывал на лучших европейских курортах, в Меране, в Ницце..

Случилось чудо отцу стало лучше. Пошли еще дети. Мать родила одного за другим пятерых сыновей, из которых в живых осталось трое, первые двое умерли в раннем возрасте… Деньги меж тем таяли, отец тяготился тем, что живет на чужой счет; он решает получить образование и подготовиться к экзамену на аттестат зрелости. Тайно от деда берет уроки алгебры, тригонометрии, французского и латинского языка.

В 1890 году, когда мне исполнилось пять лет, отец вновь заболел, и на этот раз — смертельно.

Чахотка взяла свое.

Из моих ранних воспоминаний наиболее запомнился день его смерти. И этот день, и его канун во всех деталях встают передо мною, помню, помню каждое из лиц, вот что удивительно, всех помню, кто побывал у нас тогда в доме. И о чем говорили — тоже помню.

Очевидно, впечатление ребенка от смерти отца, сам отец, мертвый, рыдающая у его изголовья мать, — все это было настолько сильным и настолько разительным, что оно стало как бы метой, началом — и с этого дня у меня почти нет перерыва в воспоминаниях.

Моя мать овдовела в двадцать четыре года. Осталась она с тремя малолетними детьми. Моему старшему брату Абе восемь, младшему Янко — два. Мать уже тогда приняла решение — не выходить замуж, всецело отдаться воспитанию детей. Предстояла жизнь тяжелая, трудная, материальное положение семьи просто плачевное все прожито и истрачено на лечение отца…»

— Борис Ильич, вы давненько, помните, в Серебряном Бору, собирались непременно рассказать, притом подробно, как гимназист Боря, недавно перешедший в седьмой класс, встретился в Каменец-Подольске с лидером эсеровской боевой организации Григорием Гершуни, точнее, лидер боевой организации эсеров встретил в Каменец-Подольске некоего гимназиста Борю.

— Было такое дело, — кивнул Борис Ильич. — Учтите, что это происходило в начале двадцатого века, в самом-самом начале его, когда наш с вами Каменец-Подольск жил глухой, болотистой, провинциальной жизнью. С точки зрения полиции, да и самого генерал-губернатора, царило полное благополучие, и никто и подозревать не мог о том, что здесь может гнездиться хотя бы самая невинная крамола. Учтите, со времени движения народовольцев не было ни одного, представляете, ни одного политического ареста.

Шепотом передавали, что в духовной семинарии читают вслух народническую литературу, ну, читают, мало ли что и кто читает, главное, нет в губернии революционеров, ни одного нет и даже ими не пахнет…

А как-то вечером я застал у себя старшую сестру моей Фанни — позволяю себе говорить «моей», потому что она, Фанни, в будущем станет моею женой и с нею будут теснейше связаны многие события моей и научной, и личной жизни. Многое в этом отношении вы уже знаете, а если нет, мы еще вернемся к этой обаятельной гимназистке с толстой косой и большим пышным бантом. Старшая ее сестра была в этот раз чем-то сильно взволнована и попросила меня закрыть дверь на ключ. Сегодня, сказала она, понизив голос, пришел некий господин из Киева, ему надо немедленно повидаться с гимназистом Збарским. Он сидит в сквере и нас ждет. Я уже была у тебя, тебя не было дома… Рассказывая все это, она запиналась, дрожала… Ее угнетало, что она стала невольной посредницей каких то подпольных дел. Мы пошли в сквер, со скамейки поднялся человек.

«Знакомьтесь, это Пепа», — сказала сестра.

Вы, наверное, заметили, Евгения Борисовна зовет меня Пепа. Это подпольная моя кличка с тех далеких времен… Сестра тотчас же оставила нас вдвоем и, думается, сделала это с большим облегчением. Передо мной стоял человек лет тридцати пяти — сорока. «Где мы можем уединиться?» — спросил он, мгновенно окинув меня с ног до головы беглым, но пронзительно-острым взглядом. Я ответил: у нас в квартире, матери нет дома, можно сколько угодно разговаривать наедине. Молча дошли, так же молча разделись и поднялись наверх, в гостиную. Приезжий был одет модно, элегантно, совсем не похож видом на мои представления об истинных революционерах, помнится, это-то и произвело впечатление. Заметив, что я гляжу на него неотрывно, ласково улыбнулся и стал расспрашивать, с какого времени интересуюсь я революционным движением и разбираюсь ли в существующих политических партиях.

Можно ли представить себе мое смущение, всю робость,

охватившую меня… Ответы мои были путаны, сбивчивы, смутны. Но разве могли они быть иными? Ведь я не разбирался в том, какие вообще есть политические партии, не имел ну ни малейшего представления о том, скажем, какая разница в программе эсеров и эсдеков, да и вообще об их существовании знал только понаслышке…

Приезжий расспросил о моей семье, а затем, помедлив, значительно произнес, что у него есть ко мне поручение. Однако, прежде чем сообщить о нем, он считает порядочным предупредить: это сопряжено с риском и требует большой конспирации. Сердце мое трепыхалось от восторга. Я, разумеется, был готов идти на какой угодно риск, ибо уже тогда мечтал отдать всю свою жизнь революции. Я смешался, почувствовал себя отвратительно, так как не знал даже, что это за слово — «конспирация». А спросить приезжего — не смел, смертельно пугаясь от мысли, что этим незнанием обнаружу непозволительную наивность, а быть может, даже и непригодность к выполнению страстно ожидаемого мною революционного задания… Для меня было бы большой трагедией, если приезжий, разгадавший мою полную несмышленость, возьмет да и откажется напрочь иметь дело с подобным сосунком.

— И как же вы вышли из положения?

— Счастливый случай. В дверь постучали. Пришел мой товарищ по гимназии. Я вышел к нему, тщательно притворив дверь за собой. Дорогой мой, сказал я, сейчас я очень занят, приехал родственник из Киева по семейным делам, зайди попозже. Не успел он уйти, как я бросился к этажерке, схватил энциклопедический словарь, я им пользовался для объяснения иностранных слов, судорожно стал листать — ура! Нашел слово «конспирация», прочитал, что это — «умение тайно производить непозволительные действия, запрещенные законом». Господи, как все это оказалось просто, и можно ли было сомневаться, что я готов нарушить какие угодно законы, вчера, сегодня, завтра! Счастливый, возвратился в гостиную и сразу же выпалил приезжему, что, может быть, я недостаточно опытен в конспирации (теперь я с наслаждением повторял это слово — конспирация, конспирация), но что я готов заниматься конспирацией в любое время суток, в любом качестве и в любом количестве! Приезжий ласково улыбался, хорошо принимая всю мою пылкую наивность и так же хорошо ощущая, что я не очень-то уясняю все значение и опасность этого нового слова. Сказал, что его подпольная кличка Дмитрий. И только два года спустя я узнал, что был передо мною не рядовой революционер, а тот

самый знаменитый Григорий Андреевич Гершуни, коего царское правительство разыскивало по всей России, обещая огромную сумму денег за его поимку.

УЖЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ, в сорок девятом, купил я в проезде Художественного театра Энциклопедический словарь Гранат и по сей день благодарю, выражаясь старинным языком, «провидение», оказавшее мне столь важное одолжение. Это издание начали выпускать еще в конце девятнадцатого века в Москве братья Гранат, Александр и Игнатий. С 1891 по 1917 год — в 58 томах. Самое изумительное, что после Октябрьской революции издание продолжалось и продолжало выходить в советские годы.

К слову сказать, статья Ленина «Маркс» была напечатана впервые в этом словаре в 1915 году. Вообще в этой энциклопедии многие статьи, написанные до революции, принадлежали марксистам, тома, вышедшие до революции, печатались и после Октября по матрицам. Замечу: в энциклопедии есть бесценные и объемистые добавления, в частности такие, как раздел «ДЕЯТЕЛИ СССР И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». Тут напечатаны биографии и автобиографии крупнейших большевиков и очень, очень многих из тех, что были посмертно реабилитированы после Двадцатого съезда. Остается лишь поразиться, как в сталинские времена могли прозевать и не конфисковать эту энциклопедию и тем более эти тома, как владельцы их не преследовались по статье 58-й только лишь за одно их хранение…

Вот и сейчас, когда пишутся эти строки, понадобилось вновь заглянуть в уникальный словарь, найти в нем что-нибудь о Гершуни.

И, заглянув в четырнадцатый том, обнаружил обстоятельную статью о Григории Андреевиче Гершуни, родившемся в 1870 году, ставшем, как свидетельствует словарь, одним из основателей партии с-р (эсеров, то есть социал-революционеров. — *А. Ш.*) и, более того, возглавившем ее боевую организацию. В начале 1901 года, после кратковременного ареста, Г. А. Гершуни перешел на нелегальное положение. Осенью 1901 года уехал за границу. Вернулся в начале 1902 года в Россию. Организовал ряд террористических актов (убийство министра внутренних дел Сипягина, уфимского губернатора Богдановича, покушение на убийство харьковского губернатора князя Оболенского). В июне 1903 года петербургским военным судом присужден к смертной казни, замененной бессрочной каторгой и заключением в Шлиссельбургской крепости. Переведенный в декабре 1905 года в Сибирь (Акатуй), бежал с каторги и вернулся к революционной деятельности. В марте 1908 года умер от саркомы на чужбине.

Вот с какой неординарной личностью свела судьба гимназиста Борю Збарского, перешедшего в седьмой класс каменец-подольской гимназии…

НЕ БУДЕТ ЛИШНИМ СКАЗАТЬ, что потом, в страшном начале пятидесятых годов, когда мы, друзья и знакомые семьи Збарских, в великой наивности своей мучительно перебирали все гипотезы, отыскивая причины разразившейся в семье Збарских беды, в числе наших многих версий было и то самое далекое знакомство с лидером эсеровской партии Григорием Гершуни…

— Григорий Андреевич, — продолжал между тем свой рассказ Борис Ильич, — стал весьма осторожно объяснять мне, что речь идет о том, чтобы организовать тут, в Каменец-Подольске, расположенном недалеко от границы, транспорт заграничной нелегальной литературы. Есть ли здесь, бегло задал он мне вопрос, снова окинув меня своим пронзительным острым взглядом, среди моих знакомых, люди, явно сочувствующие революционному движению? Подумав, назвал ему одну фамилию. Человек этот недавно вернулся из Америки, он работы там не нашел, бродяжничал, голодал и возвратился на родину, перейдя нелегально границу неподалеку от нашего Каменец-Подольска, тут его арестовали жандармы, избили до полусмерти и затем уже в мировом суде присудили к денежному штрафу. Звали его Миша.

Гершуни не откладывая познакомился с названным мною знакомым, они провели вместе около трех часов, очевидно, Миша внушил доверие, вернулись, бросилась в глаза перемена, происшедшая в Мише, он был напряженным и, как мне казалось, одухотворенным. «Все, что вы услышите сейчас, — сказал мне Гершуни, — должно быть в абсолютной тайне. Если бы вы даже были арестованы, вы обязаны молчать, никаких показаний». Замирая, я кивнул. «Итак, — продолжал он, — Михаил найдет квартиру в городе, здесь и будет тайная явка. В эту квартиру контрабандисты будут привозить нелегальную литературу, книги, брошюры, газеты, воззвания, печатающиеся за границей». Затем все это надо будет направлять дальше, по указанным им, Гершуни, адресам. «Вы, Борис, будете служить явкой для приезжающих в Каменец-Подольск подпольщиков, так как квартира вашей семьи вне подозрений. Любой приезжающий, явившись к вам, должен произнести пароль, только после этого можно начать разговор. Пароль: «Поклон вам от Дмитрия, он жив и здоров». Вы будете получать письма. Содержание на вид вполне невинное, а существенная часть написана химическими

чернилами, которые надо будет немедленно проявить. Сейчас я вам покажу, как надо проявлять письма над керосиновой лампой». И взял книжку с ночного столика. Это был Пушкин, с которым я никогда не расставался. Раскрыл томик, на первой странице прочел вслух надпись: «Награда первой степени ученику VI класса Б. И. Збарскому за отличное поведение и успехи в знаниях при переходе из VI в VII класс». Улыбнувшись, заметил: «Эге, да вы к тому же и отличный ученик. Тем более вы достойны посвящения в рыцари революции. Итак, смотрите. Техника шифра весьма простая: числитель — это строка стихотворения, знаменатель — буква от начала строки. Вот и все». — «Какое же стихотворение будет у нас для шифра?» — спросил я его. «Я вам скажу потом», — ответил он и снова испытующе окинул меня взглядом… Вынул из кармана бумажник. Повернулся к Мише. «Вот вам двести рублей на расходы. Идите, вас ждут дела». Миша ушел, и тогда Гершуни сказал, что нашим шифром будет пушкинская «Полтава», и тут же предложил мне расшифровать из нее фразу. Я выполнил задание быстро и аккуратно, он был доволен. «Куда же я буду вам писать?» — «Писать вы не будете, мои письма будут содержать лишь зашифрованные адреса, по которым нужно будет отправлять литературу, а также количество ее пудов». Здесь я впервые узнал, что книги можно расценивать на пуды. Он обещал вскоре быть в Каменец-Подольске и распрощался.

На деньги, полученные от Гершуни, мы сняли конспиративную квартиру.

…Со времени встречи с Григорием Андреевичем все мои мысли были сосредоточены на предстоящей революционной деятельности. Я перестал ходить на балы, на танцы, которыми увлекалась тогда каменец-подольская молодежь. Написал письмо моему приятелю, студенту, учившемуся в Киеве, и по моей просьбе он прислал мне длинный список книг, которые мне следует прочесть. Тут были Михайловский и Белинский, Писарев и Мачтет, Короленко и Горький. Я записался в городскую библиотеку и вечерами и ночами жадно глотал одну книгу за другой. Утром, уходя в гимназию, набивал свой ранец книгами и во время уроков, прячась за спинами сидящих впереди гимназистов, украдкой читал, читал, читал…

Гимназия стала вызывать у меня такое отвращение, что, уже приближаясь к ней, я чувствовал настоящую тошноту. И какой же неслыханной радостью стал для меня первый транспорт нелегальной литературы. Наша конспиративная квартирка была полна тюками литературы, печатавшейся за рубежом, были тут и газеты «Революционная Россия», и книжки «Вестника Народной

воли», и «Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского, и его же «Домик на Волге», и другие издания эмигрантского подполья. Стоит ли говорить вам, с каким буквально религиозным чувством брал я в руки эти священные для меня книги! Я был в восторге от самого факта, от сознания, что вот передо мной лежат запрещенные, противоправительственные, подпольные издания.

Тщательно занавесив окна, мы с Мишей начали раскладывать пачками доставленную нам литературу. Уложили все по диванам, я взял по одному экземпляру всех изданий, пошел домой, тут же бросился читать… Открылся неведомый дотоле мир, я почувствовал, что становлюсь взрослым и что мне доверена величайшая тайна. Часть книг и газет я дал хранить Фанни, для этого под ее кроватью будет запиравшийся на замок сундук. «Где ты все это взял?» — спросила меня Фанни. Я не открыл ей тайну, сказал лишь, что давать для прочтения книги имеем право только надежным людям. И она, и я ночами жадно продолжали читать, я настолько был одержим этим запрещенным чтением, что поражался, когда выходил на улицу и видел, что все кругом, оказывается, идет по-старому, магазины открыты, на перекрестках городовые, чиновники идут со службы, из окон трактиров доносятся удары бильярдных шаров, гимназисты гуляют с гимназистками, и даже музыка духового оркестра играет, как всегда, в городском саду…

Первый транспорт нелегальной литературы составлял более четырех пудов. Через несколько дней наконец я получил письмо от Гершуни, вскрыл его дрожащими от нетерпения руками. Написанное обычными чернилами, оно выглядело безобидно, как бы стандартное письмецо от товарища по гимназии, сообщавшего, что он собирается куда-то поехать на каникулы, зовет меня с собой. Я снова вспомнил слово «конспирация» и зажег керосиновую лампу. Письмо, проявленное на свет, показало цифры коричневого цвета. Я взял томик Пушкина и расшифровал цифры по стихам «Полтавы». Все вышло удивительно ясно. В письме было четко сказано, что надо направить в Саратов два пуда Раи (условное название «Революционной России») и Веры (условное название «Вестника Народной воли») и два пуда — в Киев. Я все это выучил наизусть и, как меня учил Гершуни, тут же сжег письмо. Литературу мы должны были отправить как домашние вещи, это тоже было условлено с Гершуни. Как? В корзинах, через транспортное общество «Надежда». Необыкновенно подходящее название, не правда ли? Накладные следовало заказным письмом отправить по указанным адресам. Опыта у нас не было, и мы наткнулись на серьезную проблему — каковы должны быть корзины на два пуда домашних вещей. И

главное, нельзя вызвать подозрения в «Надежде»… Тут я вспомнил, что там служит агентом мой родственник, пошел к нему, зная к тому же, что он с большим сочувствием относится к революционному движению. Я смело решил посвятить его в нашу тайну. Через «Надежду» проходило великое множество самого разнообразного груза, родственник сказал, что груз должен привезти не я, а кто-нибудь другой, не привлекающий внимания, литературу надо обить мешковиной сверху, написать адрес краской, корзины должны быть на замке, а литературу надо перемешать с сеном.

Все было сделано. А вскоре прибыл второй транспорт из-за границы, а за ним пришло новое письмо от Дмитрия. И снова мы с Мишей исполнили поручение, и все было отправлено по адресам в разные города.

Я действовал, и мой приятель, студент из Киева, приехавший на пасхальные каникулы и уже замешанный в студенческих беспорядках, был поистине потрясен, когда я ему, под клятву молчать, поведал о том, что со мною произошло в последний год. Впечатление было сильнейшее. «Имей в виду, — сказал он, — что ты, пожалуй, единственный гимназист в России, которому доверены такие дела».

Надо ли вам объяснять, какая великая и, я бы даже сказал, бесстыдная гордость меня обуяла, когда студент из Киева столь высоко оценил мою подпольную деятельность!

Вот в таком состоянии чувств и ума я перешел в седьмой класс. Впрочем, у меня было такое ощущение, что с гимназией скоро будет покончено. В ее мертвящей обстановке занятия становились все более невыносимыми, я бы сказал, даже бессмысленными и никак не совмещались ни с моим настроением, ни с реальной революционной необходимостью сосредоточиться на нелегальном транспорте литературы из-за границы… Ведь по-прежнему, примерно раза два в месяц, контрабандисты, соблюдая полную конспирацию, появлялись у нас, и несколько дней надо было потратить на то, чтобы, согласно указаниям Григория Андреевича, отправить литературу через транспортную контору по разным городам…

Наступили наконец каникулы. Их пьянящее очарование усугублялось тем, что студенты из каменчан, захватив своих коллег, приезжали к нам погостить, гимназисты и гимназистки тоже были свободны от занятий, царило необычайное оживление на бульварах, традиционные прогулки до позднего времени становились причиной встреч, споров, любовных увлечений… Два раза в неделю устраивались гулянья, играл на полную мощность духовой оркестр, и главная аллея бульвара бывала забита до

такой степени, что гуляющим приходилось двигаться в затылок друг другу, взад и вперед… Я тоже не терял даром времени и использовал каникулы для того, чтобы через верные руки давать студентам читать конспиративную литературу… Моя мать не могла и подозревать степени моего активного участия в революционной деятельности, но чувствовала неладное и жила в постоянной тревоге, что со мной может случиться что-нибудь крайне неприятное. Столько трудов положила она, чтобы вырастить нас, с таким напряжением, продавая приданое, воспитывала троих сыновей (все трое учились в учебных заведениях), и возможность исключения меня из гимназии, а может быть, и просто ареста казалась ей невероятным несчастьем…

…Вскоре за мною началась слежка, удалось кое-как «замести следы», но слежка продолжалась, я был исключен из гимназии с волчьим билетом — так назывался паспорт с отметкой о неблагонадежности, закрывавший доступ в какое-либо учебное заведение.

Я стал готовиться дома на аттестат зрелости, в конце концов сдал его экстерном, но слежка продолжалась, волчий билет действовал, с ним в высшее учебное заведение дорога была закрыта, к тому же за исключенным гимназистом установлена постоянная слежка, и на семейном совете решено: Боре в России не жить надо уходить за кордон.

Но — на какие средства?

Тут и пригодились на черный день хранимые фамильные драгоценности. Мать отдала их ювелиру не раздумывая.

Куда ехать?

Тут для Бори все было ясно — в Швейцарию уехала учиться гимназистка с большим бантом.

Стало быть — в Швейцарию.

Мать быстро догадалась, почему именно выбран этот город, и только вздохнула.

Здесь, в Швейцарии, каменец-подольская гимназистка и исключенный из каменец-подольской гимназии Боря Збарский окончательно нашли друг друга и решили женитьбой связать воедино свою судьбу…

Женева оказалась к тому же и городом, в котором Борис Ильич встретился и подружился с человеком, оказавшим неизгладимое влияние на его становление и как ученого, и как революционера.

Алексей Николаевич Бах.

Он родился в марте 1857 года, за двадцать восемь лет до

рождения Збарского.

Разница в годах не помешала, но только вдохновляла обоих в их длившейся десятилетия дружбе, основанной на общности взглядов на жизнь, на науку, обогатившую крупными открытиями русскую, советскую биохимию.

Сама по себе биография человека, пленившего юношу с первого же часа их общения, необычайно колоритна, поразительно своеобразна.

На самом деле нелегко вообразить, а между тем дело обстояло именно так: Алексей Николаевич Бах, будущий действительный член Академии наук СССР, будущий депутат Верховного Совета СССР, будущий Герой Социалистического Труда, будущий лауреат премии имени Ленина, будущий лауреат Государственной премии СССР 1941 года, основатель советской школы биохимии, еще в семидесятых годах прошлого столетия оказался в гуще знаменитых университетских киевских беспорядков, в числе пятнадцати студентов, арестованных и высланных в ссылку в Белозерск, где он пробыл с весны 1878 года до 1881 года, года убийства Александра Второго. Вернувшись из ссылки, он был принят в партию Народной воли. Его деятельность раздвоилась — чистая научная работа чередовалась с революционной, он был страстно увлечен и тем и другим, и спустя много лет эта двойственность окажется характерной чертой жизни его будущего близкого младшего друга…

Вернувшись из ссылки, Бах организовал тайную типографию, где печатались прокламации, львиную долю из которых писал сам Алексей Николаевич. За ним началась слежка, он перешел на нелегальное положение, уехал из Киева, сперва в Ярославль, потом в Казань, затем уединился и написал книгу «Царь-Голод», знаменитую в те времена, сперва опубликованную при помощи гектографа, затем отпечатанную в тайной народовольческой типографии и разошедшуюся в нескольких десятках тысяч экземпляров, тиражом, по тем временам фантастическим…

Очевидно, эта книга была в числе тех, что переправлялись впоследствии гимназистом Збарским через границу в Россию.

Арест и тюрьма маячили перед Алексеем Николаевичем с каждым днем все явственней и неизбежней, и он был вынужден эмигрировать за границу.

Это было в 1885 году, в год рождения Бориса Ильича…

Автобиография Алексея Николаевича, которая сейчас, когда пишутся эти строки, в 1987 году, лежит на моем письменном столе, читается как роман.

На Западе революционные круги чтили его имя как автора книги «Царь-Голод», ставшей известной демократическому миру

Европы.

За крупные заслуги в науке Лозаннский университет присвоил А. Н. Баху почетную степень доктора гонорис кауза.

Будучи близок с партией эсеров, он, однако, в нее не вошел, полагая проповедуемый этой партией индивидуальный террор гибельным для массовой социалистической партии.

> «Тот факт, что с самого основания партии до 1908 года террористической деятельностью руководил злейший в мире провокатор Азеф, показывает, что моя оценка не была лишена оснований. Но, не входя в организацию, я оказывал услуги партии: в частности я подготовил для нее пересмотренное и дополненное издание «Царя-Голода».

Алексей Николаевич порвал с партией эсеров, и порвал окончательно, когда она начала участвовать в борьбе против Советской власти. «Политикой я совершенно не занимаюсь, — писал он в биографии, помеченной 1926 годом, — но если бы теперешнему советскому строю грозила опасность, я все свои силы без остатка отдал бы на его защиту».

Дружба Алексея Николаевича Баха с Борисом Ильичом Збарским после революции не ослабла, напротив, окрепла еще прочней — ведь именно в тесном и единомышленном сотрудничестве со своим младшим другом, и Бах это подчеркивает в своей автобиографии, кстати сказать, опубликованной все в той же Энциклопедии Гранат в разделе «Автобиографии революционных деятелей 70—80 годов», именно вместе были созданы в Москве и Химический институт имени Карпова, и Биохимический институт Народного комиссариата здравоохранения, расположившиеся тогда по соседству, на Воронцовом Поле, на той улице, где поселился и Борис Ильич.

> «Тяготясь перерывами в лабораторной работе, — пишет Алексей Николаевич, касаясь своей совместной деятельности с Б. И., — которой я предавался столько лет, я в 1918 году обратился к д-ру Блюменталю, тогдашнему владельцу Химико-бактериологического института (ныне Государственного бактериологического института) с просьбой дать мне возможность выполнить давно задуманную мною работу над определением продуктов распада белка в сыворотке иммунизированных животных. Получив согласие д-ра Блюменталя, я в сотрудничестве с моим учеником

Б. И. Збарским поставил необходимые опыты и привел их к желаемому концу. В октябре 1918 года я принял предложение заведующего Химотделом ВСНХ инженера Льва Яковлевича Карпова организовать химическую лабораторию для научно-технического обслуживания химической промышленности. Вместе с Б. И. Збарским мы поставили лабораторию, которая превратилась в большое учреждение, носящее теперь название Химического института им. Л. Я. Карпова. По сей день я состою директором этого института, а Б. И. Збарским был организован в 1920 г. Биохимический институт НКЗ, открытие которого состоялось 26 января 1921 года…»

Вот с какой поистине удивительной личностью свела своевольная и непредсказуемая судьба вчерашнего исключенного каменец-подольского гимназиста…

ОДНАКО МЫ УВЛЕКЛИСЬ и несколько отошли от нашего почти хронологического документального повествования.

Держу в руках поблекшую от времени брошюру на французском языке — сын Бориса Ильича, Илья Борисович, вручая мне другие материалы к биографии отца, попросил извинения за то, что не может мне ее дать с собою для работы: экземпляр уникальный, единственный. Эта работа, изданная в Женеве в 1911 году, принадлежит перу его отца…

Не сохранились и некоторые другие научные работы того периода, написанные совместно с Александром Николаевичем Бахом.

Женевский университет Б. И. окончил в 1911 году и, защитив диссертацию на тему о влиянии кислот и щелочей на окислительные ферменты — фенолазу и пероксидазу, — получил степень доктора физико-химических наук.

Что дальше?

Манила Россия.

Он принял решение — вернуться в Петербург.

С горечью думалось о предстоящей разлуке с Бахом: ведь Алексей Николаевич был не просто старшим другом — частью его жизни…

Но что делать? Пограничный шлагбаум в Россию перед автором «Царя-Голода» был опущен, дома ждали тюрьма и ссылка…

Так бы оно и было до февральской революции — Бах вернулся на родину лишь в июне семнадцатого…

ТЕПЛО РАСПРОЩАВШИСЬ С АЛЕКСЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ, Борис Ильич покинул Женеву.

В родной Каменец-Подольск уже отправилась Фанни Николаевна — она была в положении и уехала к родным рожать ребенка, будущего Илью Борисовича.

На родине у Бориса Ильича возникли непредвиденные сложности. Оказывается, диплом доктора физико-химических наук, торжественно врученный там, в Женеве, был недействителен для России. И молодой ученый был вынужден сдавать вновь экзамены в Петербурге! Добывая себе уроками средства для скромного существования, вскоре он сдал со свойственным ему блеском экзамен и в Петербургском университете. Собственно, вновь защитил диплом.

Но что дальше?

Как и где реализовать зревшие смелые научные замыслы?

В столице империи оставаться не собирался, влекла Москва, Москва, прославленный Московский университет, у которого репутация, пожалуй, почти единственного центра научной работы по профилю, избранному там, в Женеве, в содружестве с Алексеем Николаевичем…

ИЗ ПЕТЕРБУРГА БОРИС ИЛЬИЧ ПЕРЕЕХАЛ В МОСКВУ. Ведь здесь, в московском университете, на кафедре медицинской химии профессора В. С. Гулевича, шла интересная исследовательская работа по биохимии. Однако, несмотря на доброе внимание профессора В. С. Гулевича, попасть в его лабораторию хотя бы скромным ассистентом на оплачиваемую работу, увы, не удалось.

Таким образом, надо было думать не столь о любимом труде, сколь о хлебе насущном для себя и, главное, для своей семьи.

Фанни к этому времени приехала к нему в Москву вместе с крошкой сыном. Б. И. зарабатывал на пропитание семьи случайными уроками, денег на все удорожавшуюся жизнь явно не хватало, и Фанни с тревогой следила за тщетными усилиями мужа обеспечить сносные условия человеческого существования…

Наконец блеснула робкая надежда — его пригласили на работу в акционерное товарищество «Гарпиус». Однако и тут ждали разочарования — оказалось, к науке эта деятельность имела лишь отдаленное отношение… Его влечение определилось — наука, и только наука.

К великому сожалению, Фанни, с которой он делился своими мечтаниями бросить работу в акционерном товариществе и заняться действительно любимым делом, нисколько не поддерживала этого его стремления…

— «Так и прошел весь 1914 год, — рассказывает он в надиктованных им записях. — Началась война, первая мировая… Тут уж и думать нечего было о том, чтобы каким-либо образом вернуться к научной работе. Весною 1915 года я решил сделать последнюю отчаянную попытку и, зарабатывая уроками, продолжить свою научную деятельность. Я, кажется, уже рассказывал, что это встретило сопротивление Фанни, с которым, естественно, я не мог не считаться. Она не хотела (абсолютно) идти на лишения, и моя безграничная любовь к ней и к маленькому Элику так на меня воздействовала, что я окончательно решил «отставить» науку и из любви к семье пожертвовать своим талантом. Так и возникла служба у З. Г.»

Что означали эти слова — З. Г.?

Зинаида Григорьевна Резвая-Морозова.

Она вышла замуж за московского градоначальника.

РОССИЯ ВСЕГДА БЫЛА БОГАТА ПАРАДОКСАМИ — социальными, человеческими, психологическими.

Таким социальным парадоксом был и Савва Морозов, миллионер, меценат, дававший деньги на революцию, причем не эсерам, не меньшевикам — большевикам.

В своей незаслуженно забытой и, к великому сожалению, не переиздающейся в последние годы книге воспоминаний «Время и люди» Александра Тихонова, где Чехов и Станиславский, Горький и Комиссаржевская предстают живыми и как бы вновь осязаемыми, — так вот в книге, изданной в 1955 году, Тихонов рисует удивительно рельефный контрастный и точный портрет Саввы Морозова.

Как и горьковский Булычов, родился Морозов не на той улице, и на чужбине, далеко от России, через день после того как вручил большевику-подпольщику Леониду Красину запечатанный конверт с деньгами для передачи Марии Федоровне Андреевой («Пусть отдаст кому нужно»), оставшись один в комнате богатого отеля, обвел химическим карандашом очертания сердца, пальцами левой руки ощупал его биение и — выстрелил. Смерть последовала мгновенно.

ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВА… Странно, музыкально и необычно звучит это название столицы обширных владений Морозовых на Урале, простиравшихся до таких же огромных владений Демидовых и занимавших пространство, равное двум Франциям.

Сюда Савва Тимофеевич Морозов душным летом привез уже больного Чехова…

Привез — пожить, отдышаться, половить рыбу.

Александр Тихонов, работавший в те далекие времена в морозовских имениях (он был инженером и разведывал здесь угольные пласты), прелестно описывает этот приезд, когда в здешней церкви разучивали специальную торжественную кантату, платформу увешивали цветочными гирляндами, толченым кирпичом начистили станционный колокол, а у вокзала ждала лихая тройка с кучером, разодетым в плисовую с позументами безрукавку.

Это было 23 июня 1902 года, за два года до смерти Чехова.

Морозов вышел к толпе, стоявшей на площади. Многие сняли фуражки и шляпы.

— А в колокола звонить не будут? — спросил Чехов.

Савва Морозов всячески старался украсить Чехову его приезд. По его предложению назвали новую школу именем Антона Павловича. Тому это явно не понравилось. Еще больше заскучал он, когда управляющий имением прочитал Чехову специальный адрес. Читал его управляющий имением, а подле стояли учитель, священник, фельдшер и начальник станции. «Начальник станции даже вытянул руки по швам, как на параде».

В примечаниях к последнему академическому полному собранию сочинении и писем А. П. Чехова в тридцати томах находим любопытные примечания об этом чеховском приезде во Всеволодо-Вильву, основанные на воспоминаниях управляющего тогда имением Саввы Морозова. Антон Павлович не только удил рыбу и охотился, он побывал на заводе и сказал Морозову, что 12-часовой рабочий день на таком заводе недопустим. Рабочие не придали большого значения этим разговорам, однако с 1 июля действительно был введен 8-часовой рабочий день. Существовал он до 1906 года, когда наследники Морозова вновь установили прежний порядок.

ЧЕХОВ ПИСАЛ 23 июня 1902 года сестре своей, Марии Павловне:

> «Милая Маша, я в Усолье. Если на карте поведешь пальцем по Каме вверх до Перми, то найдешь это Усолье. Сегодня же через 4—5 часов еду по железной дороге до станции Всеволодо-Вильва, где проживу дня три у Саввы Морозова».

Спустя день, уже приехав в именье, в письме Горькому, помеченному той же Всеволодо-Вильвой, сообщает:

> «Дорогой Алексей Максимович, я был на сих днях в

Перми, потом поплыл выше в Усолье, теперь по железной дороге спускаюсь опять до Перми; пребываю близ ст. Всеволодо-Вильва…»

И еще спустя день, 25 июня, — В. И. Немировичу-Данченко:

«Здравствуй, милый Владимир Иванович! Пишу тебе черт знает откуда, из северной части Пермской губернии. Если проведешь пальцем по Каме вверх от Перми, то уткнешься в Усолье, так вот я именно возле этого Усолья… Жизнь здесь, около Перми, серая, неинтересная, и если изобразить ее в пьесе, то слишком тяжелая».

ПОСЛЕ САМОУБИЙСТВА САВВЫ МОРОЗОВА во владение уральскими наследствами династии вступила вдова его, Зинаида Григорьевна Морозова-Резвая.

Случайность столкнула Збарского с Зинаидой Григорьевной. Кто-то из крупных промышленников, участвовавших в акционерном товариществе Гарпиус, познакомил их, да она и раньше слышала о молодом ученом, оставшемся без средств к существованию, о его кипучей энергии, отличавшей его в товариществе, о его научных дипломах… Состоялось свидание. Попытался было отказываться, это еще больше подогрело желание Зинаиды Григорьевны, — и какой молодой, необеспеченный ученый откажется от столь притягательной материальной возможности? Збарский дал согласие.

Фанни Николаевна торжествовала.

Она даже согласилась, взяв с собою сына, поехать с Борисом Ильичом на Урал.

Для того чтобы представить масштабы деятельности, за которую дерзко, мы бы сказали, взялся человек чистой науки, — несколько слов об имении на Урале.

Тридцать девять тысяч десятин почти сплошного леса, среди которого львиная доля — строевого! Все это необозримое лесное богатство практически не эксплуатировалось, на просторах имения несколько небольших речек, дававших возможность сплава из глубинки, при этом — ни одной лесопилки! Недра не исследовались, и не было никаких сомнений, что они таили в себе неисчислимые залежи каменного угля, — на юге имение граничило с землями Демидовых, у них старые каменноугольные копи, на севере в имении Морозовых угольные пласты вообще не разведаны, и Савва Морозов при жизни только-только начинал их разведку. Он держал у себя в кабинете в правлении Никольской

морозовской мануфактуры планшет ватмана — это был план уральского имения, и отмечены предполагаемые простирания пластов. В имении было два химических завода — вот почему выбор вдовы остановился на кандидатуре Збарского! Заводы устарели, оборудование обветшало, однако перспектива развития химических заводов здесь, с использованием леса в качестве сырья, таила в будущем отличные перспективы. Помимо всего прочего, в имении были источники лечебных вод…

Все это предстало перед Борисом Ильичом, когда он, отказавшись от экипажа, сел на резвого иноходца и в сопровождении главного морозовского лесничего, тоже севшего на коня, стал объезжать земли, которые теперь отданы были ему, молодому управляющему, во власть и подчинение.

Картина, представившаяся ему, была более чем удручающей. Техническая отсталость и запущенность ужасающая.

Вдова С. Т. Морозова, Зинаида Григорьевна, жила в Москве и совершенно не вникала в дела и судьбы своих уральских владений.

Вопиющая отсталость и запущенность настолько поразили Збарского, что он решил довести до конца ревизию имения и затем отправиться к ней в Москву — бить тревогу.

Через несколько дней Борис Ильич был в Москве.

По дороге он обдумал весь свой предстоящий разговор с Зинаидой Григорьевной, твердо решив: если она не даст свободу для намеченных реформ, он этой должности не возьмет ни в коем случае.

Зинаида Григорьевна приняла Збарского тотчас же, отнеслась к нему со всем вниманием и живым любопытством.

Имения на Урале давали убыток, и она увидела в горячем, инициативном Збарском ту самую живую струю, которая принесет ей доход и поставит на ноги пришедшую в упадок промышленность, ей принадлежащую.

Борис Ильич рассказывал, что она была по природе скупа и на новые вложения шла с неохотой. Однако на ряд предложений согласилась после настойчивых требований Збарского, и в конце концов сопротивление было сломлено.

От одного лишь предложения отказалась наотрез — повысить заработную плату рабочим. Нет, нет и нет.

«Вот так, — с горькой улыбкой подумал Борис Ильич, прощаясь с Зинаидой Григорьевной, благосклонно протянувшей руку для поцелуя. — Реформы реформами, а деньги деньгами».

Но в уме, рассказывает он, твердо было решено в следующий приезд поставить вопрос о заработной плате в соответствии с

растущими ценами. Он надеялся убедить владелицу в том, что повышение заработной плати ей же окажется выгодней. Но не все сразу, не все сразу, успокаивал он сам себя, — он уже добился и так немало.

Между тем Фанни Николаевна, после переселения во Всеволодо-Вильву, начала откровенно скучать.

Людей, с которыми она могла бы общаться, которые ей были чем-то интересны, не было.

Борису Ильичу скучать было некогда, но он понимал настроения жены. В самом деле, по его воспоминаниям, «здешняя публика, собираясь, пьянствовала и играла в карты, других развлечений не знали, да и потребностей не было».

Привольная жизнь, полное отсутствие материальных забот, обилие прислуги — горничная, кухарка, няня, кучер и дворник, — все это давало Ф. Н. уйму свободного времени, поэтому она все активнее настаивала на приглашении в «длительные гости» друзей.

Так возникла переписка с Евгением Германовичем Лундбергом, действительно содержательным, интересным человеком и писателем, сама биография которого была красочной и нестандартной…

Е. Г. Лундберг, почти ровесник Бориса Ильича, родился в 1887 году, окончил Высшую школу социальных наук в Париже, учился в Йенском и Женевском университетах, очевидно, там и возникло знакомство с ним Ф. Н. и Бориса Ильича. Вернувшись домой, стал странствовать по России, проще говоря, бродяжничал, к этому времени относится и его, как выразилась наша довоенная Литературная энциклопедия, «непрерывный революционный роман с социал-демократами и эсерами». Уже несколько раз был арестован…

Естественна была радость Ф. Н., когда в ответ на ее и Бориса Ильича приглашение он тотчас же откликнулся и вскоре стал желанным гостем во Всеволодо-Вильве.

Еще во время поездки в Москву к З. Г. Борис Ильич случайно встретился на улице с Борисом Леонидовичем Пастернаком.

Для него он был просто Борей.

«Хотя тогда мои отношения с семьей Пастернака не были еще очень близкими, я все же предложил Боре поехать к нам. Я рассказал про нашу жизнь там и сказал, что мы будем очень ему рады. К моему удивлению, Боря с восторгом принял приглашение, сказав, что оно весьма подходит сейчас, так как в Москве ему очень трудно писать, да и материально у них в семье жизнь становится все труднее и труднее. Мы с ним тут же условились о приезде к нам, и через некоторое время он

действительно приехал».

Мог ли Борис Ильич предполагать, какую роль в его личной жизни сыграет этот невинный приезд и какою ценою он заплатит за это свое приглашение?..

Евгений Германович и Борис Леонидович одним лишь своим присутствием во многом украсили и обогатили духовным содержанием будни дома Збарских.

Вечерами шли затягивавшиеся до глубокой ночи беседы о жизни, о литературе, о поэзии.

Борис Леонидович с неподдельным удовольствием читал свои стихи, очень часто садился за рояль, часто и поразительно импровизируя, и, по воспоминаниям Бориса Ильича, тогда «трудно было сказать, что из Бори выйдет — поэт или композитор. Он сам рассказывал нам тогда, что Скрябин предсказывал ему в свое время блестящую музыкальную будущность».

Борис Ильич, будучи по натуре скромным человеком, был смущен и душевно растроган, когда в один из таких чудесных вечеров Пастернак прочитал посвященное ему, Збарскому, стихотворение, в котором, как пишет Борис Ильич, «описывал мою деятельность как дирижера огромного симфонического оркестра. В этом стихотворении была строфа, в которой сказано, что он, Борис Пастернак, с удовольствием взял бы для себя хотя бы роль барабанщика в этом оркестре».

«Все это было очень мило, трогательно и скрашивало мою душевную тоску в это время».

Приехал в гости младший брат Бориса Ильича, Янко, и тотчас же стал ему помогать в хлопотах по заводам и имению.

СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЯНКО будет суждено погибнуть трагической смертью в Сибири, где он участвовал в становлении Советской власти и был расстрелян белыми.

Судьба старшего брата Бориса Ильича, Абы, по трагизму схожа с судьбой Янко.

Он переехал с семьей в Испанию в 1907 году, жил и работал в Испании и в период гражданской войны, будучи членом социал-демократической партии, был арестован и убит в затылок фашистами…

…Итак, Урал, имения вдовы Саввы Морозова, гостеприимный дом Збарских.

«К сожалению, я мало времени мог быть в обществе моих гостей, так как огромное количество работы занимало весь день, да и ночью часто будили по телефону — то пожар, то драка, то

какое-нибудь чрезвычайное происшествие».

«Эта кипучая деятельность иногда вызывала удовлетворение, иногда, напротив, жгучую тоску. Евгений Германович и Борис Леонидович отлично меня понимали, когда я иной раз неожиданно заводил на эту тему разговор. Но, как ни странно, Фанни, являвшаяся в конечном счете виновницей такого моего душевного состояния, не ощущала этого. Наслаждаясь беседами с интересными людьми, читала и обсуждала с ними прочитанное». Вот как рассказывал Борис Ильич: «Фанни тут-то, по-видимому, стала впервые замечать, что я как бы деградирую в своих духовных интересах».

«Случалось иногда, что мы вечерами сидели в кабинете, уютно расположившись, и вдруг меня прерывали телефонные звонки, и я должен был вести иногда длинную беседу относительно цен на муку или отдавать распоряжения на покупку овса, найма возчиков, эти разговоры, прерывавшие и даже мешавшие всем остальным наслаждаться приятной духовной пищей, явились толчком к направлению мысли у Ф. Н., что я, так сказать, «падаю»…»

Я читал эти записи, похожие на исповедь, понимая, что Борис Ильич, видимо, был настроен писать в своих воспоминаниях все — со всей точностью, ничего не скрывая и ничего не затушевывая.

«Да, она сказала именно так — «падаю». Так как в моей работе ежедневно чувствовалось, что я делаю все с увлечением и получаю удовлетворение от удачных результатов, ее именно это и начинало раздражать…»

Какая это ужасная штука — раздражение близким человеком…

«Как-то, когда мы остались наедине, у нас произошел разговор, который я считаю началом разрыва наших отношений».

«Я УЖЕ ДАВНО ХОТЕЛА ТЕБЯ СПРОСИТЬ — как это ты можешь всерьез увлекаться такими вещами, как покупка муки, овса, телег и тому подобным? Как ты можешь вести разговоры о справках цен на товары и делать все это неравнодушно, даже горячо?

Я даже замечаю иногда: когда ты сидишь и разговариваешь с нами, твои мысли где-то блуждают, ты полон какими-то не имеющими отношения к тому, о чем разговариваем, прозаическими мыслями…»

Борис Ильич был взволнован этим неожиданным для него обвинением, словно бы вырвавшимся наружу и давно таившимся в глубинах сердца и ума близкого ему человека. Он с трудом

сдержал охватившее его и жегшее душу негодование.

«Так, подумал я. Потрясающе! Я же, оказывается, виноват в том, что мои мысли блуждают где-то далеко, что именно мне, из-за семьи, приходится заниматься этой, видите ли, презренной прозой жизни. Ведь только моя любовь к Ф. Н. и ребенку толкала меня на эти жертвы! Мою безумную тоску из-за того, что я не могу работать научно, я загнал в тайники души. Я ни с кем не мог даже вслух поделиться этим, я старался не думать об этом, я гнал свои мысли о моем призвании ученого. И тут самый любимый мною человек, из-за которого я и пошел на эти жертвы, бросает мне такое тяжелое обвинение. Я чувствовал, в этих вопросах, которые она задавала мне, требуя и осуждая, что она начинает терять ко мне уважение, и сравнивает, по-видимому, Борю и Евгения Германовича со мною, считает, что сравнение не в мою пользу».

И он ответил ей так:

«Вот у Герцена, в его «Былом и думах», есть место, которое похоже на наш с тобою разговор. Когда Герцен был сослан в Вятку и там работал в канцелярии губернатора, занимаясь целыми днями всякими мелкими служебными делами, он был в чрезвычайно тяжелом состоянии духа из-за того, что вынужден уйти от литературной работы, жить в глуши, удалиться от своих друзей и обычных для него кругов общества. И вот, когда Наташа, которую он страшно любил, приехала к нему в Вятку, она была поражена, как это Герцен мог проводить целый день в обществе чиновников, заниматься служебными делами, почти забросив литературную свою деятельность. Разговор Наташи на эту тему с Герценом и явился основной причиной того, что их отношения порушились. Самый близкий Герцену друг не понял, что больше всего страдает именно сам Герцен и что он нуждается именно в это тяжкое для него время его жизни в помощи и утешении. Да, да, в помощи и утешении, но не в упреках и обвинениях, связанных с его вынужденным состоянием…»

Поняла ли Ф. Н. смысл того, что ей сказал в ответ на ее раздражение Борис Ильич?

Как будто бы поняла.

Но он уже никогда не мог, да если бы и хотел, не мог вычеркнуть из памяти этот многое открывший ему тягостный и драматический разговор…

…Потом в своих воспоминаниях Б. И. откровенно скажет: «В личной жизни я пережил во время пребывания во Всеволодо-Вильве первую, хотя и небольшую трещину, она была сигналом последующего краха».

Что же случилось? Трагедия. Но об этом позже.

ОДНАЖДЫ, В СУМЕРКАХ, В СИЛЬНУЮ СТУЖУ, Збарский ехал в санях с очередной ревизией на Ивакинский завод. Навстречу ему двигалась длинная процессия — толпа людей шла за санями. Збарский попросил кучера свернуть с дороги, иначе невозможно было бы проехать. Стали ждать. Человек тридцать шли за санями, где лежал открытый гроб с покойником. Впереди шел молодой священник без шапки, несмотря на мороз.

Проводив глазами процессию, Збарский поехал дальше. Кучер сказал: на Ивакинском нет церкви и покойников везут на кладбище у Виленского завода, там отпевают, там и хоронят… Священник, оказывается, денег от бедных за требы не берет, бессребреник, тем более что для перевозки гроба контора даже не дает лошадей и семье умершего приходится нанимать лошадь самой.

На другой же день Борис Ильич приглашает священника к себе. Правда ли, что он не берет денег за требы? Священник кивнул. «Народ все бедный, и я не чувствую себя вправе брать с них плату за требы». Збарский сообщил священнику: уже дано распоряжение — когда придется хоронить покойников с Ивакинского завода, контора берет на себя поездку туда и обратно, и отныне всякий раз, когда будут похороны, контора дает несколько саней для перевозки покойника и сопровождающих гроб близких. Священнику с этого дня назначается от завода жалованье в размере пятидесяти рублей в месяц, и ему вообще не надо брать никаких денег для исполнения треб. Священник ушел, ошеломленный, и на другой день вместе с женой пришел к управляющему домой благодарить за поразившую его акцию. Просидели весь вечер, и Збарский, как он рассказывал потом, убедился, что священник принадлежит к духовным лицам, близким народу и болеющим его горестями.

Подобные акции не замедлили обратить на себя внимание тайной полиции. Збарский получил несколько писем, в которых его предупреждали — какие-то лица собирают сведения у рабочих с целью обвинить управляющего в политических преступлениях. Письма были анонимные.

Появились на заводе и люди из охранки. Покрутились, покрутились и исчезли…

Думается, приложили ко всему этому руки некоторые из служащих, недовольные и раздраженные многими новшествами, предпринятыми Збарским, и донесшие в губернское жандармское управление, что на заводе появился управляющий-революционер,

«политический».

«В один прекрасный день, кажется в январе 1915 года, меня, вернувшегося с завода, ждала телеграмма его превосходительства губернатора Пермской губернии Лозино-Лозинского. Будучи уверен в том, что вызов к начальству связан с какими-то деловыми обстоятельствами, я и не подозревал, что меня ожидало. Губернатор принял меня немедля».

— Это вы, молодой человек, — спросил он, оглядев Збарского с ног до головы, — управляющий имением и заводами госпожи Морозовой-Резвой?

— Это я.

— Ваши действия носят странный характер, чтобы не сказать больше.

Он замолчал, испытующе и сызнова оглядев Збарского с головы до ног. Борис Ильич молча ждал продолжения.

— Возможно, — сказал губернатор, — что вы, обуреваемый хорошими побуждениями и увлекшись, совершаете вредные для себя поступки. Во всяком случае, имейте в виду, слухи о вас ходят весьма нехорошие, и не исключу возможности, что это может закончиться весьма и весьма печально. Из уважения к вашей хозяйке ограничиваюсь пока лишь предупреждением. Не измените своего поведения — буду бессилен вас защитить. Вот так, молодой человек.

— В чем заключены мои вредные, как вы изволили выразиться, вредные поступки?

— Вы знаете.

— Я не знаю за собою никакой вины. Наоборот, при мне увеличились поставки действующей армии. Заводы по всем показателям работают лучше, чем в прошлые годы. Никаких неприятных акций, имевших место на заводах со стороны рабочих, я не знаю, потому что их не было.

— Все это, может быть, и так, но вы ведете там политику, вы меня понимаете, политику, которая дискредитирует служащих на заводе. И даже старых. И делаете все это вы в угоду рабочим. Я вас предупредил. Прощайте.

ОН И САМ ТЕПЕРЬ ОТЧЕТЛИВО сознавал, что тучи сгущаются…

И тут выручило одно немаловажное обстоятельство.

Среди других производств на заводах было и производство хлороформа.

Шла война, в «Ниве», популярном журнале тех лет, регулярно

публиковались фотографии офицерских чинов, погибших на фронте. Госпитали переполнены ранеными, остро не хватало насущно необходимых медицинских препаратов и особенно хлороформа, ввозившегося в Россию (его импортировали до войны немецкие фирмы Шеринг и Мерк), война прекратила поставки, стали ввозить морским путем из Англии, потом — из Японии, все равно его трагически не хватало. Редкая операция проходила под наркозом, и надо ли описывать мучения, которым подвергались солдаты и офицеры русской действующей армии.

Збарского неожиданно пригласили на совещание, организованное Военно-промышленным комитетом Пермской губернии. Здесь, в секретном порядке, выступил губернатор, горячо взывая к патриотизму собравшихся, требуя немедленного производства продукции, нужной фронту. В числе названий производств, которые нужно сразу же начать, чуть ли не на втором месте был отечественный хлороформ, это, сказал губернатор, задача задач.

Борис Ильич больше ничего не слушал и не слышал — речь шла о нечеловеческих страданиях воинов и о его научном и гражданском долге. Дать медицинский хлороформ!

Задача до невозможности сложная, медицинский хлороформ должен выдержать сложнейший экзамен — пройти через ряд проб, которые обязаны констатировать отсутствие каких-либо минеральных и органических примесей. Полное отсутствие — иначе опасность трагического исхода при применении…

Как ни бился Збарский в лаборатории со своим помощником над самыми различными способами очистки, которые бы выдержали все пробы фармакопеи, — ничего сделать не удалось.

— Зря вы себя изводите, Борис Ильич, — говорил меланхолически главный мастер завода, — уже пробовали и до вас, освободиться от примесей еще ни у кого не выходило…

Борис Ильич продолжал просиживать в лаборатории с утра до двух-трех часов ночи. Иногда столько вдыхал хлороформа, что его приходилось отвозить домой — засыпал на ходу.

Однажды поздней ночью наконец-то удалось получить образцы, которые выдержали бы все пробы наиболее требовательных и жестких западных фармакопеи.

Казалось, победа близко-близко.

Но — сорвалось!

Одна проба не выходила. При погружении пробирки с хлороформом в тающий снег хлороформ не должен давать мути, но, как ни старались, он эту муть давал.

Борис Ильич не мог есть, не мог спать, снова и снова экспериментировал — не получалось.

Однажды вечером, надышавшись хлороформом настолько, что уже нельзя было оставаться в лаборатории, он в самом дурном расположении духа отправился домой. Евгений Германович, Борис Леонидович, Фанни Николаевна, увидев его состояние, предложили отвлечься, поехать всей компанией в лес, сели в сани. Збарский сел за кучера.

«Была прекрасная лунная ночь. Меня все время не оставляла мысль о хлороформе, я все время думал об этой реакции с мутью. Совершенно неожиданно, вот, вот, где-то рядом, блеснула мысль. Да ведь это может быть не что иное, как примесь незначительных количеств воды, надо погрузить хлороформ вот в этот снег, и тогда следы влаги дадут эту муть!»

Он уже сгорал от нетерпения поскорее проверить эту простую и великую догадку там, в лаборатории. Уже не было для него ни лунной ночи, ни лесного поэтического очарования, ни прекрасного скрипа саней, ни смеха и шуток гостей. Не говоря им ни слова, он резко остановил коней, развернулся, повернул назад к дому, никто ничего не понимал, что случилось, почему назад, может быть, он испугался, что дома не потушены лампы, что пожар. Нет, нет, нет, говорил он, нахлестывая коней, все в порядке, просто уже поздняя ночь, пора, и волки могут попасться, домой, домой, скорей, скорей…

Бросил поводья выскочившему из дому и ждавшему их кучеру, кинулся не домой, а туда, туда, туда, в лабораторию, швырнув на ходу шубу, побежал к своим любимым и ненавистным колбам, пропустил небольшое количество очищенного хлороформа через хлористый кальций — он поглощает следы воды — и снова сделал, дрожа от страстного нетерпения, пробу на муть.

Образец, высушенный хлористым кальцием, мути не давал.

Мути не было!

Держа в руках пробирку, стал танцевать, сперва мазурку, потом полонез, потом польку-бабочку, что-то пел, ринулся к телефону, стал звонить лаборанту, разбудил его, спросонок тот ничего не понял, а поняв, закричал: «Урр-а! Бегу!»

Борис Ильич посмотрел на часы.

Три часа ночи.

Лаборант примчался в лабораторию тотчас же, и они уже вдвоем, и замирая, и еще не веря до конца, стали повторять манипуляции многократно, пока не убедились в неизменном результате — муть есть не что иное, как примесь воды.

И, убедившись в своем торжестве окончательно и бесповоротно, стали танцевать и петь уже вдвоем.

И, восстанавливая в памяти эти счастливые мгновения

озарения, Борис Ильич никак не мог вспомнить, что именно они пели.

Полные душевного восторга, наконец решили пойти поспать. Теперь они имели право на сон — образец вполне чистого наркозного хлороформа, которого ждали тысячи раненых в лазаретах и госпиталях, найден!

Борис Ильич вошел тихо, на цыпочках, стараясь никого не будить. Однако в гостиной, несмотря на поздний час, все еще сидели Пастернак, Лундберг и Фанни Николаевна.

Все трое поняли по лицу Бориса Ильича — что-то случилось.

Борис Ильич сказал тихонько:

— Удалось. — И повторил торжествующе: — У-да-лось! Сегодня, в три часа ночи, я получил образец чистого наркозного хлороформа, ничуть не уступающего западным фирмам.

Фанни Николаевна уже доставала из поставца шампанское.

Пастернак был очень серьезен.

— Это все вышло, потому что мы поехали в лес. Лес и луна. И сердце, открытое состраданию. Не будь этого сердца, не было бы и открытия.

Евгений Германович разлил шампанское.

Молча чокнулись, молча выпили.

И неожиданно, размахнувшись, Збарский швырнул бокал об пол. Фанни Николаевна вскрикнула, Евгений Германович зааплодировал.

— Как я вас понимаю, — тихо сказал Пастернак.

Куда-то ушел, вернулся с веником и стал собирать осколки. Борис Ильич отнял у него веник, усадил за рояль.

Пастернак играл Скрябина.

УТРОМ БОРИС ИЛЬИЧ «ОТБИЛ» ТЕЛЕГРАММУ В ПЕТЕРБУРГ. На имя начальника Главного военно-санитарного управления принца Ольденбургского.

> «Докладываю вам, что мною изобретен способ получения медицинского хлороформа для наркоза. Прошу ваших указаний. Урал, Всеволодо-Вильва, доктору химических наук Збарскому».

Трудно поверить, но уже тогда, в 1915 году, через час Б. И. получил ответную телеграмму. Ее содержание он и сейчас отчетливо помнит от первой до последней буквы:

> ВСЕВОЛОДО ВИЛЬВА ТЧК ДОКТОРУ ХИМИИ ЗБАРСКОМУ ТЧК ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ПРИНЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ПРИКАЗАЛ ЯВИТЬСЯ В ПЕТРОГРАД В

СРЕДУ ДВАДЦАТОГО В ДВА ЧАСА ДНЯ НА АНГЛИЙСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ С ДОКЛАДОМ И ОБРАЗЦАМИ ВАШЕГО ХЛОРОФОРМА ТЧК ГЕНЕРАЛ ИОРДАНСКИЙ

Окрыленный и взбудораженный, Борис Ильич стал собираться в дорогу. Надо было спешить, генерал Иорданский уже назначил день недели и час приема — среда, два часа дня.

В лаборатории они заготовили склянки с образцами хлороформа. Обычно к чистому хлороформу, для того чтобы он не разлагался, прибавляли до 1/2% спирта. Но при этом удельный вес снижается. Ученому же хотелось представить также и образец совершенно чистого хлороформа, без примеси спирта, удельный вес которого точно соответствовал бы химически чистому хлороформу. Чтобы этот образец не мог в дороге разложиться, Збарский заказал небольшой ящичек с двойными стенками, обитый жестью. В промежутки между стенками он решил положить снег и по дороге на железнодорожных станциях его обновлять. Таким образом он рассчитывал сохранить драгоценный ящичек на холоде и избежать угрозы разложения.

Днем была получена и телеграмма от пермского губернатора, того самого, с двойной фамилией, который получал анонимки о революционной деятельности Збарского. Телеграмма повторяла приказ принца Ольденбургского о немедленном выезде Бориса Ильича в Петроград. Видимо, губернатор получил уже телеграфное указание проследить за своевременным отъездом ученого, и Збарский мысленно смеялся, думая, в какое изумление и смятение повергнула Лозино-Лозинского телеграмма из самого Петрограда, от самого принца Ольденбургского! Откуда и почему в столице империи могут знать само имя Бориса Ильича, и что за птица этот самый подозрительный тип Збарский, за которым уже следила губернская жандармерия…

УЕЗЖАЯ В ПЕТРОГРАД, он дал телеграмму в Москву Зинаиде Григорьевне, сообщавшую, что он выезжает в Петроград по вызову принца Ольденбургского, и снова мысленно улыбался, живо представляя ее искреннее изумление.

Остановился он в «Европейской» гостинице, и около часу дня, заблаговременно, был на Английской набережной во дворце принца, там помещалось Главное военно-санитарное управление.

Держа ящичек с образцами, поднялся по белой мраморной лестнице в приемную, его проводили к генералу Иорданскому.

— Пожалуйста, обождите здесь, в приемной… Вам назначено в два часа, еще рано.

Збарский сел, огляделся и только тут заметил множество ожидавших приема лиц, среди них и важные чиновники в вицмундирах, и генералы с аксельбантами.

Дежурный чиновник выкрикнул его фамилию. Он вошел в кабинет. У огромного письменного стола, крытого зеленым сукном, опираясь на палку, в кителе, стоял почтенный старец. Он сам стоял и не пригласил ученого сесть.

— Что же, — сказал он, внимательно вглядываясь в Бориса Ильича, — вам действительно удалось получить наркозный хлороформ?

Збарский открыл ящичек с двойными стенками.

— Смею заверить, этот хлороформ по своему качеству не уступает лучшим образцам западных стран.

Принц нажал кнопку, вошел дежурный чиновник.

— Пригласите генерала Анрепа. Немедленно.

Генерал Анреп был профессором Военно-медицинской академии и главным хирургом действующей армии.

Вошел Анреп.

— Вот господин Збарский привез из далекой Пермской губернии, с Урала, образцы, за которые несет ответственность. Дайте распоряжение — завтра должен быть готов анализ этих образцов с вашим авторитетным заключением.

Збарский предупредил:

— В одной бутылке у меня образцы с примесью спирта, в другой — чистый хлороформ, который я сохраняю все время на холоде. Хотелось бы, чтобы этот режим сохранился и сейчас.

— Хорошо, — сказал принц. — Завтра к двенадцати часам приходите ко мне за ответом.

«Вместе с профессором Военно-медицинской академии мы вышли из кабинета. Тут же, в приемной, он задал мне несколько вопросов, и я понял, как его занимает мое открытие.

— Можно ли изготовлять ваш хлороформ в большом количестве?

— Несомненно.

— А какое для вашего хлороформа необходимо сырье и есть ли оно?

— Сырье у нас в неограниченном количестве, и мы можем изготовить любое количество.

— Сегодня же произведем анализ вашего хлороформа. — Помедлив, добавил: — Как химический, так и физиологический.

Добавление было для Збарского неожиданным. До сих пор он думал — раз уж его хлороформ выдерживает все требования международной фармакопеи, значит, он вполне пригоден.

— Мы испытаем ваш хлороформ в качестве наркоза на

кроликах.

— Смогу ли я, — с наружным спокойствием спросил Збарский, — узнать ответ раньше, чем он будет доложен принцу? Надеюсь, мое нетерпение вам понятно?

— Приезжайте завтра в одиннадцать часов утра в Институт экспериментальной медицины на Аптекарском острове, пройдите в химическую лабораторию и спросите там капитана Дверницкого.

Весь остаток дня и всю ночь Борис Ильич прожил как в лихорадке.

«Меня все время мучила мысль — а вдруг при физиологическом испытании хлороформ окажется негодным? В каком глупейшем положении окажусь я тогда!»

Ровно в одиннадцать он уже был в химической лаборатории Института экспериментальной медицины на Аптекарском острове. Легко нашел капитана Дверницкого. Он выглядел усталым, это было естественно, вчера до поздней ночи, сказал он мне, по приказу профессора Анрепа в лаборатории шли испытания.

— Господин Збарский, — торжественно сказал капитан Дверницкий, — мы даем заключение его сиятельству принцу Ольденбургскому, что ваш хлороформ превосходен. Он не уступает лучшим образцам хлороформа фирмы Мерк. Как химические, так и физиологические испытания он вполне выдержал. Сейчас, с курьером, посылаю заключение в Главное военно-санитарное управление.

Борис Ильич был счастлив. Он был готов танцевать мазурку, полонез и вальс, как и тогда, в своей лаборатории на Урале.

В час дня Борис Ильич был у Иорданского.

«Его высочество просил вам передать, что необходимо немедленно наладить производство этого хлороформа по вашему способу. Его высочество также просил вам передать, и я к этому присоединяюсь, что вы, господин Збарский, свершили истинно патриотическое дело. Армия крайне нуждается в хлороформе. Необходимо возможно скорее получить его для фронта».

Уже через несколько месяцев после того, как Збарский начал свою работу по хлороформу во Всеволодо-Вильве, он стал получать письма от Льва Яковлевича Карпова, который был директором Бондюжских заводов акционерного товарищества Ушковых. Огромный химический завод, один из первых в России, находился возле пристани на Каме с поэтическим названием «Тихие Горы». Лев Яковлевич, уважая, любя и, главное, ценя Збарского, многократно писал ему, настойчиво приглашая его туда, в Тихие Горы, на химические заводы. Само собою

разумеется, Бориса Ильича прельщала перспектива совместной работы с Карповым. Он любил его талант, любил его как инженера и как ученого. Поле деятельности в Тихих Горах будет для Бориса Ильича более широкое и неизмеримо интереснее: Карпов предлагал Збарскому взять на себя руководство главной аналитической лабораторией заводов.

В этой лаборатории когда-то работал Дмитрий Иванович Менделеев. Тот самый великий Менделеев!

Збарский поехал в Тихие Горы.

Карпов искренне, от всей души радовался триумфу Бориса Ильича и сообщил ему, что постройка хлороформенного завода уже идет полным ходом.

От встречи с Карповым осталось чарующее впечатление. Они провели много часов в утоляющих ум и сердце беседах, то и дело переходя от научных проблем к политическим и от политических к научным.

Збарский покинул Тихие Горы с уже сложившимся решением — перейти сюда немедленно.

С волнением вспоминает Борис Ильич проводы, устроенные ему в имении и на обоих заводах. Рабочие и служащие сложились и преподнесли ему дорогой подарок — серебряные часы и серебряный портсигар. Собирали деньги, как он потом узнал, буквально по копейкам. На портсигаре и часах выгравированы были трогательные надписи… Подарки вручили дети рабочих, вместе с наивным и милым стихотворением, после чего все торжественно снялись большой группой. В центре ее был Борис Ильич.

Провожали его так же дружно на вокзале, и среди провожающих был здесь священник, которому Борис Ильич положил пятьдесят рублей в месяц. Борис Ильич пишет:

«Растроган был до слез буквально и Борис Леонидович Пастернак, он ехал с нами в поезде до Перми, а оттуда уехал в Москву».

…Постройка хлороформенного завода шла поистине в бешеных темпах — фронт ждал хлороформ.

Карпов и Збарский дали в Москву телеграмму и вслед за нею послали подробные чертежи аппаратуры, необходимой для производства хлороформа. В ответ Москва сообщила: почти все это оборудование можно найти готовым в Москве, из эвакуированного с Запада, в пору австро-германского наступления, имущества. Збарскому предлагалось для отбора выехать в Москву, что он тотчас же и сделал — ждать нельзя было

ни минуты.

Можно вообразить и негодование, и одновременно радость ученого — в Москве, на Ходынском поле, под открытым небом, беспорядочно и хаотически сваленные, лежали в невероятном количестве приборы и аппараты, в которых до крайности нуждались Тихие Горы…

За несколько дней Борис Ильич отобрал нужную аппаратуру, сделав все необходимое, чтобы все это было погружено и отправлено туда, на Каму…

СЕМЬЯ ЛЕОНИДА ОСИПОВИЧА ПАСТЕРНАКА жила летом на даче в Молодях, близ станции Столбовой по Московско-Курской дороге.

В автобиографическом очерке «Люди и положения» Борис Леонидович пишет, что в доме, где жили его родители близ станции Столбовой, «по преданию, казаки нашей отступающей армии отстреливались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы». Здесь, в течение двух или трех летних месяцев, он написал стихотворения своей первой книги, она называлась, по признанию поэта, «до глупости притязательно «Близнец в тучах», из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств».

Леонид Осипович Пастернак ко времени знакомства с ним Бориса Ильича уже был знаменитым художником. Широко известны были многие его картины, в том числе «Письмо с родины», «Хор слепых девочек на молитве», иллюстрации к произведениям Лермонтова и Толстого. Рисовал семью Льва Николаевича и его самого…

С 1894 года преподавал живопись в Училище живописи, ваяния и зодчества, с 1908 года стал академиком Академии художеств.

Узнав о приезде в Москву Збарского, Борис Леонидович настойчиво потребовал, чтобы Збарский провел хоть денек с его родителями. Борис Ильич провел там два дня, как он вспоминает, «в милой и дорогой для меня семье Пастернаков». Леонид Осипович с великим удовольствием знакомил его со своими работами, Збарский ему понравился, и к тому же он любил сына и друг сына был его другом. «С его женой и дочерьми я точно так же близко сошелся, и мне жалко было расставаться с ними. Днем, когда я сидел на веранде и писал письмо Фанни, Леонид Осипович сделал мне исключительно приятный сюрприз. Он просил меня попозировать, в то время как я пишу письмо, и тут

же, тушью, нарисовал мой портрет и преподнес мне его со своим автографом, я был в восторге и до сих пор храню его».

На веранду между тем вошел с прогулки Борис Пастернак, портрет ему тоже понравился, и он поздравил Бориса Ильича с прекрасным отцовским подарком.

Завязалась беседа. Оказывается, поэта ждал призыв в армию. Бессмысленная бойня продолжалась, мобилизации следовали одна за другой.

У Бориса Леонидовича был серьезный физический недостаток — одна нога чуть короче из-за перелома от удара лошади, это случилось в детстве поэта. Раньше у него был «белый билет», освобождавший его от военной службы. Однако бойня требовала новое и новое пушечное мясо и стали брать в солдаты и людей с различными физическими недостатками. Вероятно, при новом призыве возьмут и его.

Збарский предложил ему работу на заводе в Тихих Горах, скажем конторщиком, это даст отсрочку.

В дни, пока Збарский был в Москве, приехала встретиться с сыном из Каменец-Подольска его мать, мужественная женщина, столько сделавшая для своих детей в годы их юности…

Встреча была теплой и серьезной. Борис Ильич никак не мог предположить, что именно эта встреча с матерью многое решит и в его семейной жизни…

Мать была счастлива, что Збарский получает работу на камских заводах, работу, которой он увлечен, и тут же живо откликнулась на приглашение поехать с сыном в Тихие Горы и погостить там до весны. Дело заключалось в том, что заводы находились в 200 километрах от Казани, железной дороги не было, зимой проезд в Тихие Горы затруднен чрезвычайно — надо ехать несколько суток на лошадях. Стало быть, уезжая к сыну, она должна была волей-неволей оставаться до весны, до открытия навигации, когда пароходы вновь пойдут по Каме.

Уже вдвоем с матерью они поехали назад, в Тихие Горы.

Через несколько дней сюда приехал и Борис Пастернак.

При содействии Л. Я. Карпова Борис Ильич устроил Пастернака в контору завода.

Отсрочка от военной службы понадобилась не только Б. Л. Пастернаку.

Ее надо было получить и одному простому рабочему, которого хорошо знал Л. Я. Карпов по революционному подполью.

Этот рабочий уже примелькался, участвуя в забастовках, за ним тянулся полицейский хвост, и ему грозил суд по законам военного времени.

Л. Я. Карпов устроил его на предприятие, имеющее право на военную броню.

Он работал слесарем по ремонту оборудования.

Самое примечательное, что этот слесарь, отнюдь не собиравшийся, по его выражению, «класть живот за батюшку царя» и упорно посему уклонявшийся от призыва на военную службу, окажется в будущем «всего-навсего» награжденным высшим орденом «Победа», семью орденами Ленина, четырьмя орденами боевого Красного Знамени, двумя орденами Суворова первой степени, орденом Кутузова первой степени, званием Героя Советского Союза!

Будет ранен четырежды в сражениях.

Будет военным советником в Испании, под вымышленной фамилией Петрович, и поможет частям республиканских войск разгромить итальянский корпус, посланный Муссолини в поддержку мятежу генерала Франко.

Будет одним из самых выдающихся военачальников Великой Отечественной войны, под его командованием наши войска нанесут поражение немецко-фашистской группе «Север», чьей задачей был захват Ленинграда…

Кирилл Афанасьевич Мерецков.

Маршал Советского Союза.

С такой яркой личностью и довелось встретиться Борису Ильичу, передать поручение Л. Я. Карпова, устанавливавшего тогда подпольные связи с революционерами на Урале.

В книге своих воспоминаний маршал пишет, в частности:

> «Среди людей, приезжавших на завод в служебную командировку, особенно запомнился мне Б. И. Збарский. Мне было поручено познакомить его с производством завода. Приезжий представился, назвав себя, что по отношению ко мне, простому рабочему, выглядело тогда удивительно».

Збарский ходил с Мерецковым по цехам, стремился что-то сказать там, где не было людей, это никак не выходило. Наконец, когда им удалось уединиться и Мерецков стал объяснять, как паять змеевик, приезжий засмеялся и заметил, что он сам отлично знает, как паять змеевик, ему просто надобно передать не на людях ЛИЧНЫЙ ПРИВЕТ от Карпова.

Привет был передан, связь налажена.

Маршал Мерецков с удовольствием вспоминает этот эпизод и добавляет:

> «…Однажды, в середине двадцатых годов, я сидел в

президиуме торжественного заседания, а рядом оказался господин инженер из Москвы. Борис Ильич сразу узнал меня, обнял, расцеловал, а потом долго вспоминал, как мы паяли змеевик… В моей памяти он, Збарский, сохранился как человек отзывчивой души и с большим чувством юмора».

Борис Леонидович скажет о своем пребывании на Урале много позже, в автобиографическом очерке «Люди и положения», написанном в 1956—1957 гг.:

«…Одну зиму я прожил во Всеволодо-Вильве, на севере Пермской губернии, в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном, по свидетельству А. Н. Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую — перезимовал в Тихих Горах на Каме, на химических заводах Ушковых… В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону. Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена «Капитанской дочки», на тройках. Я один проделал этот путь».

И далее — о Борисе Ильиче:

«Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На Ижевском заводе я должен был найти и захватить ранее командированного туда инженера и замечательного человека Збарского, поступить в его распоряжение и следовать за ним дальше».

Збарский вспоминал:

«Я был чрезвычайно рад, что этот исключительно талантливый человек и близкий мой приятель вернулся обратно со мной из Елабуги в Тихие Горы. Он испытывал в это время большой творческий подъем, работал очень много и напряженно, вечерами читал новое, к сожалению, у меня было настолько мало времени, что я иногда при всем желании не мог слушать его новые вещи, но зато Ф. Н., которая была совершенно свободна, целыми днями проводила время вместе с Борей».

Затем Борис Ильич заключает с великой горечью:

«Это постоянное времяпрепровождение их вместе вскоре явилось причиной тяжелых переживаний для меня, о которых я скажу впоследствии».

Итак, Тихие Горы…

«Я работал на заводе и в лаборатории, моя мама целые дни проводила, нянча моего Элика, он прекрасно развивался, уже хорошо говорил и доставлял много радости в те очень короткие промежутки времени, когда я был свободен».

Однажды поздним вечером, очень усталый, он вернулся с завода и спросил встретившую его с ужином мать:

— Где Фанни?

— В гостиной, — сказала она. И, помолчав, добавила: — И как всегда — с Борей. Он читает ей стихи.

В ее тоне ему послышалось нечто тревожное.

— Что ж тут такого? — Он пожал плечами. — Все поэты любят читать свои стихи. И Боря — тоже.

— Пепа, он предпочитает читать стихи ей — одной. Пепа, неужели ты не видишь? Она в него влюблена.

Помолчал.

— Дай мне что-нибудь поесть. Все равно что. Я проголодался. — Помолчал. — И забудем навсегда об этом разговоре.

— Ты его не забудешь. И я тоже.

— Дай мне что-нибудь поесть.

Нет, она не забыла об этом никогда. И Збарский тоже этого никогда не забыл.

Сердце его щемило гнетущей тоской. Неужели случилась трагедия, которую он со страхом ждал во Всеволодо-Вильве, когда Фанни упрекала его в том, что он «падает»?

Он вспоминал вечера там, во Всеволодо-Вильве, и морозную ночь в лесу, с серебряной луной, и шампанское, и разбитый бокал, и Бориса Леонидовича с веником, и этюд Скрябина, и стихи, которые читал Пастернак…

Сквозь грани баккара вы суженным
Зрачком могли следить за тем,
Как дефилируют за ужином
Фаланги наболевших тем.

И были темы те эмульсией
Из сохраненных сердцем дней,
А вы последнею конвульсией,
Последней каплей были в ней.

Неужели счастье обошло его стороной?

Часть вторая

«МЫ НЕ ВЕРИМ!»

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.
Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный ленинский язык.
Разве гром бывает немотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!
Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионосильной воле РКП.
Разве жар
такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.
Нет!
Нет!
Не-е-т…

Пылающие строки, пронизанные болью, тревогой и — надеждой, надеждой, надеждой…

Не забуду, как прочитал их впервые, шестнадцати лет от роду, ранней и цветущей среднеазиатской весной, в далеком от Москвы Ташкенте, в молодежной газете «Юный Восток»,

выклеенной на афишной тумбе, поверх старой театральной афиши и рядом с правительственным бюллетенем о состоянии здоровья Владимира Ильича Ленина.

Бюллетени эти публиковались каждодневно во всем государстве, от Ледовитого океана до отрогов Памира.

Маяковский назвал свое стихотворение «Не верим!». Написав, сразу же отдал стихи в пресс-бюро агитпропа ЦК РКП, и тотчас они были переданы газетам и журналам всей страны.

«Не верим!»

И казалось, это «Не верим!», звучащее как заклинание, нашло свое реальное подтверждение.

Уже в мае двадцать третьего, в чудесный солнечный день перевезли Ильича в автомобиле в Горки. Здесь, с конца июля, здоровье его стало решительно улучшаться, уже стал ходить, стал шутить, стал смеяться, настоял, чтобы ему давали газеты, сначала «Правду», потом и «Известия». Следил за художественной литературой. По вечерам Надежда Константиновна читала ему вслух. 18 октября 1923 года Ленин решил побывать в Москве, когда автомобиль подъезжал к городу, снял кепку и приветственно помахал столице. В Кремле поднялся в свою квартиру, заглянул в зал заседаний Совнаркома. Пришел в свой кабинет. На следующий день проехал по Москве, побывал на сельскохозяйственной выставке, затем вернулся в Кремль, взял из своей библиотеки несколько нужных ему для работы книг и вернулся в Горки.

Это был его последний, прощальный приезд в Москву…

То, с чего начинался спектакль «Так победим!» Михаила Шатрова и Олега Ефремова в Художественном театре…

Крупская писала Горькому о последних неделях жизни в Горках:

> «Он был до самой смерти таким, каким и раньше, — человеком громадной воли, владевшим собой, смеявшимся и шутившим еще накануне смерти, нежно заботившимся о других».

НЕЖНО заботившимся…

Уже тогда появились тревожные симптомы нового обострения болезни.

Однако надежда не гасла. Она владела даже лечащими врачами, неусыпно следившими за ходом болезни. Их радовало общее улучшение самочувствия, каждый день, казалось, больше голубело над Горками небо надежды…

Но пришел день 21 января 1924 года.

Внезапное ухудшение. Резкое. Тяжкое.

Пришла безнадежность.

Пришли шесть часов пятьдесят минут 21 января 1924 года.

Шел в эти дни в Москве съезд Советов — одиннадцатый, чрезвычайный, Всероссийский.

Москва, студеная, ледяная, строгая.

Утреннее заседание съезда — очередное.

На трибуну поднимается Председатель Президиума ЦИКа СССР Михаил Иванович Калинин.

Медлит. Вглядывается в зал. По этой затянувшейся паузе зал тревожно охватывает предчувствие. Что-то случилось. Что-то случилось. Да, Калинину трудно начать. Его волнение передается залу — тут около четырех тысяч человек. Зал напрягается…

Маяковский был на этом заседании. Потом опишет трагические мгновения, «размножит», по его словам, «неизгладимые впечатления очевидца»…

Пора открывать!
Чего они мешкают?
Чего
президиум,
как вырубленный, поредел?
Отчего
глаза
краснее ложи?
Что с Калининым?
Держится еле.
Несчастье?
Какое?
Быть не может!
А если с ним?
Нет!
Неужели?
Потолок
на нас
пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
еще нагни!
Задрожали вдруг
и стали черными
люстр расплывшихся огни.

— Товарищи, — сдавленным голосом наконец произносит Калинин. И вновь пауза и мертвая тишина и дыханье четырех тысяч, натянутых как струна… И сам Калинин переводит

дыхание. — Прошу встать.

Встали. Та же мертвая тишина и то же одно дыханье.

— Здоровье Владимира Ильича в последнее время шло на значительное улучшение. — Пауза. — Но вчера произошел с ним удар, и Владимир Ильич умер.

Мгновенье тишины, и затем нечто невообразимое, рыдания женские и мужские, все что-то одержимо и сбивчиво говорят, размахивают руками, перебивают друг друга, сжимают кулаки… По описаниям свидетелей, это был какой-то небывалый всеобщий всероссийский плач, какого еще никто никогда не видел и не испытывал…

Калинин потребовал тишины.

С трудом она возникла. Запинаясь, очень тихо, председатель ЦИКа прочел только что выпущенный бюллетень врачей. Он гласил:

> «…21 января в состоянии Владимира Ильича внезапно произошло резкое ухудшение: в пять с половиной часов дня дыхание стало прерывистым, наступило бессознательное состояние, появились общие судороги, и в 6 ч. 50 м. Владимир Ильич скончался при явлениях паралича дыхательного центра».

И снова накатилась волна рыданий. Зазвучал похоронный марш. Делегаты устремились к выходу, ехать, немедленно ехать туда, в Горки, к нему, к другу, к соратнику, к вождю, к Ленину…

В 10 часов вечера того же дня в Кремле комиссия, в которую вошли В. Молотов, Ф. Дзержинский, В. Куйбышев и Е. Ярославский, очертила первые свои действия по организации будущих похорон.

Ночью, в два часа пятнадцать минут, экстренный Пленум ЦК утвердил общий план траурных акций.

В эту же ночь в 3 часа 30 минут Президиум ЦИК Союза ССР избирает комиссию по похоронам. Председатель — Феликс Дзержинский, Ворошилов, Молотов, Бонч-Бруевич…

В шесть часов утра 22 января радио сообщает о смерти Владимира Ильича.

Стране, всему миру…

Экстренный, объединенный выпуск «Правды» и «Известий», извещение — прибытие Ленина в Москву состоится на Саратовском (Павелецком) вокзале 23 января, в 1 час дня.

Ленин будет находиться в Колонном зале Дома союзов. Доступ в зал будет открыт с 7 часов вечера 23 января. О дне похорон будет объявлено особо…

Утром же, 22 января 1924 года, произведено бальзамирование — предохранить, на самое короткое время, необходимое для того, чтобы перевезти Ленина из Горок в Москву и дать возможность проститься с ним в Колонном зале Дома союзов.

Операция поручается академику А. И. Абрикосову.

Сложнейшая операция выполняется А. И. Абрикосовым безукоризненно и настолько мастерски, что бальзамирование будет действовать большее время, нежели предполагалось.

Тогда же, в присутствии народного комиссара здравоохранения Н. А. Семашко, равно как и профессоров и врачей, лечивших Владимира Ильича, установлено: смерть явилась последствием чрезмерной мозговой деятельности. И оттого — неизлечимый болезненный процесс в сосудах. Несмотря на все принятые меры, он неминуемо должен был привести к роковому концу…

Неминуемо…

Сказалось, не могло не сказаться поистине нечеловеческое напряжение мощного мозга, именно оно оборвало непоправимо преждевременно эту жизнь, такую нужную, такую дорогую, такую необходимую всем…

26 января открылся II Всесоюзный съезд Советов.

Траурное заседание посвящено памяти Ленина.

Учтя желание миллионов, II съезд Советов СССР принимает решение — сохранить гроб с телом Владимира Ильича Ленина в специальном Мавзолее на Красной площади у Кремлевской стены, рядом с братскими могилами борцов Октябрьской революции.

Тогда же Всесоюзный съезд Советов рассматривает и удовлетворяет просьбу Петроградского Совета, единодушно поддержанную всеми фабриками и заводами города на Неве, сотнями тысяч питерцев — о переименовании Петрограда, колыбели Октябрьской революции, в город Ленинград.

К 27 января был возведен временный деревянный мавзолей по проекту А. В. Щусева. Уже этот первый вариант стал композиционным центром ансамбля Красной площади.

> «В ГЛУБОКУЮ НОЧЬ, в морозную мглу поехали старейшины великого племени большевиков туда, откуда надо было получить недвижное тело почившего вождя. Привезти и показать осиротевшим миллионам».

Врезались в память с далеких-далеких времен эти строчки.

Они написаны были Михаилом Кольцовым тогда, в январе двадцать четвертого, в его корреспонденции в «Правде», названной «Последний рейс».

Вновь нашел их, перечитал в трехтомнике Михаила Кольцова, изданном в 1957 году.

Имя Кольцова десятилетиями нельзя было и упоминать — числился во врагах народа, чуть ли не «агент-тройник».

Трехтомник, как и многие другие книги Кольцова, был переиздан лишь после реабилитации — посмертно: он был расстрелян. Арест произошел в самом зените его таланта и поистине всенародной славы, вскоре после возвращения из Испании, после его знаменитых испанских дневников, которыми зачитывалась вся страна, трепетно следившая за борьбой испанских республиканцев и интербригад с фашизмом, уже набиравшим грядущую силу. Сталин принял его после возвращения и несколько часов слушал его рассказ, а потом Кольцова арестовали. И — убили. Убил Сталин.

Зенит славы и таланта Кольцову не был прощен.

Перечитываю кольцовскую корреспонденцию, где каждая фраза дышит горестью и драматизмом. Ты как бы сам садишься в маленький поезд на пустом притаившемся вокзале, будто бы сам ощущаешь «молчаливый, украдкой отход», слышишь скрип древнекрестьянского цуга саней, видишь «белый, высокий, в стройных колоннах старый дом, вправленный в благородную рамку серебряного леса, синего снега»… С Кольцовым входишь в полутемную проходную, где «на диване жена, друг, вечный бессменный товарищ Надежда Константиновна, сестра Ленина Мария Ильинична».

Вот уже гроб плывет по лестнице, вот уже первые снежинки упали на открытый лоб и губы Ленина, вот уже накрывают гроб, и плачут, и несут гроб по лесной аллее…

Кольцов повествует о толпе крестьян, сгрудившихся вдоль последнего пути, о том, как трудно было идти, как наконец выбрались на широкую дорогу в снежном поле, как несли на руках пять верст…

Несли те, что были с ним в Минусинске в ссылке, и в Петербурге в подполье, и в Париже в эмиграции, и в Петрограде в особняке Кшесинской, и в Смольном, и в Кремле…

> «Вот разве не здесь — свое, национальное в великой международно-русской революции? Вождь мирового пролетариата умер в тридцати верстах от города, в пяти

верстах от железной дороги, в лесной глуши. Поле широкое, бескрайняя белая скатерть, куда глазом хватить. Впереди, на розвальнях, мужичок посыпает ельничком путь. Большевики, несем Ленина на руках, по снежной степи, пять верст до железной дороги.

Кругом на холмах крестьяне, бабы, ребятишки снуют, бородачи уперлись в снег высокими палками-посохами, сочувственно и спокойно провожают глазами по намеченной ельничком дороге:

— Славный человек Ленин был. Окромя хорошего, ничего нам, мужикам, не сделал.

Несем. Уже желтеет домик станции. Оттуда, начиная с полотна железной дороги, ждет Ленина пролетариат земного шара; Европа, Америка, телеграф, радио, конденсированная скорбь рабочих кварталов, всех рабочих столиц. Но эти пять верст пешком по дорожке — наша русская революция, ее тысячеверстный размах над снежными пустынями, ее суровая стихия, разбуженная и направленная великим Лениным, железным вождем рабочих, вождем и другом крестьян».

…Прерываю эти записи, еду на Павелецкий вокзал — ведь там и по сей день стоит на запасном пути траурный поезд Ленина. Я там никогда не был и не уверен, знают ли об этом поезде-музее все москвичи и миллионы людей, каждодневно приезжающие и прилетающие в столицу.

Чуть поодаль от кипящего многолюдства, от бурливых человеческих потоков, от метро, троллейбусов, стоянок такси, от чемоданов, узлов, дорожных сумок, от всей привокзальной суеты сует оказываюсь во внезапной, даже неправдоподобной тишине. Пустынная молчаливая аллея голубых елей ведет к траурному поезду.

Здесь, в стеклянном здании, взятом в гранит и мрамор, прописался и стоит на рельсах паровоз У-27 и вагон № 1691 Рязано-Уральской железной дороги, которым была оказана печальная честь — привезти Ленина в Москву 23 января 1924 года. Вагон № 1691 — в траурном обрамлении, с венками.

Траурный поезд — на вечной стоянке.

Как в Ленинграде на вечном приколе на Неве — крейсер «Аврора».

Крейсер «Аврора» 7 ноября 1917 года, в 21 час сорок пять минут, по указанию Ленина из Смольного, дал выстрелом из носового орудия сигнал к штурму Зимнего дворца.

1917—1924.

Всего семь лет…
Какой невообразимо, немыслимо короткий срок…
И — две меты истории двадцатого столетия.
Читаю надпись — в бронзе:

> «В этом вагоне перевезено тело вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина 23 января 1924 г. от платформы Герасимово до ст. Москва-Пассажирская».

Паровоз, привезший Ленина, — со своей, воинской биографией. Его построили на Путиловском заводе в 1910 году. Воевал и был тяжело поранен в гражданскую. Уже отправили на покой, на одно из кладбищ паровозов, какими была полна Россия в начале двадцатых годов и каких я навидался там, в Средней Азии…

Но вот весною двадцать третьего, уже когда заболел Владимир Ильич и переехал в Горки, беспартийные рабочие на субботнике, в честь исполнившегося шестилетнего юбилея своей партийной ячейки, отремонтировали на славу паровоз У-27, начертали на тендере трогательно-наивную надпись, проникнутую романтической интонацией тех лет:

> «Беспартийные, в ногу с коммунистами смело вперед, к светлому будущему!»

Избрали почетным машинистом локомотива Ленина и в письме к Владимиру Ильичу сказали:

> «Вручая тебе паровоз, рабочие и служащие не сомневаются, что ты, Владимир Ильич, как опытный машинист привезешь нас в светлое будущее».

Вечная стоянка Ленинского поезда опустела лишь однажды, по причинам более чем серьезным. Фашистская авиация бомбила в июле сорок первого Москву.

Правительством решено было эвакуировать Ленинский поезд подальше от столицы.

Он был отправлен на родину Владимира Ильича, в Ульяновск, и вернулся домой, на вечную стоянку, вновь в сорок пятом…

ТРАУРНАЯ МОСКВА январских дней 1924 года.

К Павелецкому вокзалу уже с утра начали собираться москвичи и делегации городов и сел…

Уже скоро стало тесно на большой площади, которую потом назовут Ленинской, тулупы, валенки, ватники, военные шинели, теплые шерстяные платки, ушанки, телогрейки… Забиты людьми все выходящие к вокзалу прилегающие улицы и переулки…

А стужа все крепчает.

На перроне ждут делегаты II Всесоюзного съезда и XI Всероссийского.

В 1 час 30 минут подошел поезд.

Последний, прощальный гудок локомотива.

Похоронный марш. Шопен.

На руках вынесли и понесли гроб. Десятки тысяч шли в процессии, следовавшей через всю Москву, к Колонному залу Дома союзов.

В семь часов вечера в тот же день был открыт доступ в Колонный зал.

Уже стояли во всех концах столицы очереди, стояли долгими студеными часами, все увеличиваясь, обжигаемые морозом, чтобы сказать «Прощай!» Ленину и, чуть-чуть замедлив ход, посмотреть в последний раз на его лицо.

Он лежал в защитном френче. Носил его в последние месяцы жизни.

Сначала молчаливый людской поток вливался в Колонный зал через два подъезда, но очередь была бесконечной, открыли другие двери.

Дмитрий Фурманов, писатель, легендарный комиссар Чапаевской дивизии, один из сотен тысяч людей, стекавшихся со всех концов столицы, напишет потом:

> «Я шел по красным коврам Дома союзов тихо, в очереди, затаив дыханье, думая: «Сейчас увижу лицо твое, учитель, — и прощай. Навеки. Больше ни этого знакомого лба, ни сощуренных глаз. Он, говорят, перед смертью не страдал… Эта тихая смерть положила печать спокойствия и на дорогое лицо…»

Хрустальные люстры Колонного зала в черном крепе, черные полотнища покрывают зеркала. На хорах оркестр, тихая музыка.

А мороз все крепчает, молчаливые очереди все длинней, все бесконечней…

Шел в этой очереди и Паустовский Константин Георгиевич, много лет спустя я прочту его строки, одно из сильнейших по красоте, эмоциональному напряжению, художественному выражению воспоминаний об этих днях и ночах. Многое из того, что он чувствовал тогда, звучит со всей силою и сегодня.

«…Дым ночных костров и январской стужи низко висел над Москвой.

Сквозь этот дым со скрежетом ползли трамваи. Вагоны заросли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры… Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур… Очереди начинались очень далеко в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала. Уже на Лубянской площади послышались со стороны Колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче… Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами. Куда пойдет страна? Какая судьба ждет революцию?»

Шел рядом с Паустовским его знакомый, сосед по даче, капитан дальнего плавания. Сказал, когда они вышли из Колонного зала:

«— Наши дети будут завидовать нам. Если не вырастут круглыми дураками. Мы влезли в самую середину истории. Понимаете?

Я это прекрасно понимал, как все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, разочарований и побед. Зеленых от голода и почернелых от боев победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня».

Два часа ночи. Пять часов утра. Мороз — было тридцать градусов, вот уже тридцать пять. Горят костры в Охотном ряду и на Тверской, люди выбегают из очереди греться к кострам, наклоняя к дымному пламени лица, протягивая к огню измерзшие руки, возвращаются в очередь.

Ждал своих минут в очереди и Владимир Владимирович Маяковский.

Биограф и друг его, В. Катанян, в своей «Литературной хронике» сообщает о том, сколь трагически, с какой болью воспринял Маяковский этот черный день революции, как уже думал о будущей поэме, которую так и назовет «Владимир Ильич Ленин»…

Шел в этой очереди вверх по Большой Дмитровке и вниз, огибая нынешнюю улицу Горького, тогдашнюю Тверскую, и Борис

Ильич Збарский…

Думал ли он, Борис Ильич, выбегавший из очереди погреть иззябшие руки у костров, сложенных из бревен и телеграфных столбов, глядя на поддерживающих строгий порядок милиционеров в серых каракулевых шапках с красным верхом, державших на поводу заиндевелых коней, думал ли он, войдя наконец в одном из нескончаемых людских потоков в зал с укутанными черным крепом зеркалами, — думал ли, что судьба человеческая, непредсказуемая, полная загадок, сведет его с этим человеком, что будет он нести свою вахту у спящего Ленина три десятилетия?

Нет, конечно.

И он замедлил шаг, как и все остальные, замедлил на мгновение, чтобы разглядеть черты ленинского лица, черты, которые ему суждено было в будущем знать, как никто и никогда их не знал…

— Вы представляете, как все это было? — рассказывает Борис Ильич. — Предрассветная морозная мгла, пар от дыхания обволакивает людей. Это придает улицам, ведущим к Дому союзов, волнующий, потрясающий вид. Нет, этого не забыть… Москва не спит уже сутки. Не спит двое суток. Все больше приезжих из самых глухих, медвежьих углов России… За три дня 23, 24 и 25 января комиссия по похоронам получила тысячи телеграмм из всех концов государства с настойчивой просьбой отложить похороны…

— Борис Ильич, а как и у кого возникла мысль о Мавзолее?

Отвечает — односложно:

— Стихийно.

Да, возникла идея стихийно и, овладев массами, стала материальной силой.

ПРИКАЗОМ НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА МОСКВЫ 26 января 1924 года был учрежден почетный караул у временного деревянного Мавзолея, в котором покоился Владимир Ильич.

Пост номер один — так назывался караул, который несли кремлевские курсанты.

Первые часовые встали на помост около спящего Ленина на Красной площади в 16 часов 27 января 1924 года, когда под залпы артиллерии, плач тысяч гудков и сирен вся страна, весь международный пролетариат на пять минут приостановили работу. Тогда и заступили на передовую вахту кремлевские курсанты.

Часовые в парадной форме с тех минут и держат караул у Мавзолея, сначала деревянного, а потом из гранита и мрамора,

держат по сей день, сменяясь по бою Кремлевских курантов, под второй перезвон.

Осенью сорок первого года, из-за угрозы возможных налетов фашистской авиации, Мавзолей был закамуфлирован. Его скрывали под макетом двухэтажного фанерного дома с мансардой.

Перед парадом 7 ноября 1941 года макет был разобран.

Отгремели траурные залпы. Страна простилась с Лениным. Однако поток писем и телеграмм не уменьшался.

Просили, настаивали, приказывали. «Не закрывайте крышку гроба, дайте увидеть ленинские черты, ведь морозы, ведь ученые, неужели нельзя ничего сделать?»

Особенно настойчиво шли письма с периферии, с Урала, из Сибири, с Дальнего Востока…

Берут за сердце наивные формулировки. Вот одна из многих: «Не хороните Владимира Ильича. Необходимо, чтобы Ильич физически остался с нами».

Как раз в эти недели забил тревогу академик А. И. Абрикосов, как мы уже говорили, талантливо и смело проведший первоначальную операцию по сохранению. Этой операции помог мороз — а сейчас, уже в преддверии теплой погоды, необходимы были какие-то новые, экстренные акции…

26 февраля двадцать четвертого года, почти месяц спустя после похорон, была создана специальная правительственная комиссия, на нее возложена вся ответственность по наблюдению за состоянием бальзамирования Владимира Ильича Ленина и вся ответственность за своевременное принятие необходимых мер. В комиссии были народный комиссар здравоохранения, старый большевик, знаменитый Н. А. Семашко, известные профессора В. Н. Розанов и Б. С. Вейсброд. Спустя несколько дней комиссию пополнили анатом из Харькова, академик Украинской академии наук В. П. Воробьев и молодой биохимик Б. И. Збарский.

В комиссию тотчас же были переданы сотни писем и даже конкретных предложений со всех концов Союза… Как замечает Борис Ильич, подавляющее большинство предложений научно обоснованы не были…

Особенно живую и, прямо скажу, недружественную реакцию вызвало опубликованное в печати мнение А. И. Абрикосова, заявившего напрямую, что современная наука, увы, не обладает средством сохранения на сколько-нибудь продолжительное время.

В ответ на интервью сызнова посыпались письма в редакции газет, в правительство, в Центральный Комитет.

Дзержинский собрал ученых. В кратком вступительном слове сообщил: в комиссию по увековечению памяти В. И. Ленина переданы тысячи писем с одной просьбой — не предавать земле человека, с которым навсегда связана история государства, история человечества. Комиссия просит ученых сказать свое, в конце концов, решающее слово о возможностях этого при современном уровне нашей и мировой науки…

Не знаю, сохранилась ли стенограмма этого заседания, возможно, она исчезла при аресте Бориса Ильича, если она у него хранилась…

Дзержинский, предваряя совещание, сформулировал вопрос так:

— Дело идет о том, чтобы сохранить тело в таком виде, чтобы оно было доступно обозрению, и чтобы внешний вид тела и лица сохранил бы облик Владимира Ильича после своей кончины.

Борис Ильич рассказывал мне, как волновались, как нервничали, как неравнодушно отнеслись к поставленной перед ними проблеме ученые, как многие убежденно возражали: нет, нельзя, невозможно, исключено, история не знает подобных прецедентов, а взяться и потерпеть поражение — разве мыслимо? Сохранение, по их мнению, было обречено на неудачу по многим причинам и следствиям.

С огорчением констатировали — любой покамест известный нам способ не дает никакой уверенности, что есть возможность решить поставленную перед учеными задачу.

Этим волшебством пока никто не владел и не владеет.

Совещание не дало ничего позитивного.

Таких обсуждений было несколько, в общей сложности тринадцать.

Дзержинский на каждом совещании становился печальней и печальней.

Прощаясь на последней встрече с учеными, спросил Бориса Ильича:

— Значит, ничего не получится?

Збарский помолчал. И, посмотрев Дзержинскому в глаза, твердо сказал:

— Для меня этот вопрос не решен.

— Да? — с надеждой спросил Дзержинский.

— Да, — твердо ответил Збарский.

— И после того, что было сказано сегодня?

— И после того, — сказал Збарский.

— Когда мы встретимся?

— Если позволите, я вам позвоню.

Дзержинский помолчал. Молчал и Збарский.

— Жду звонка, — сказал, прощаясь, Дзержинский.

Попрощавшись, Борис Ильич хотел было поехать домой, на свою квартиру на Воронцовом Поле (какое чудесное типично московское имя было у нынешней улицы Обуха!), его ждали к обеду, однако раздумал, вскочил в трамвай, мчавшийся с неистовым звоном в сторону совсем противоположную, по Охотному ряду, по Петровке и по заснеженному бульварному кольцу. И не думал он, держась за поручень в переполненном вагоне, что его внезапное изменение в маршруте свяжет его навсегда с новым, пока еще деревянным сооружением на Красной площади у Кремлевской стены.

Анатом Воробьев Владимир Петрович, харьковчанин, будущий академик Академии наук Украинской ССР, будущий автор первого советского «Атласа анатомии человека», тоже был приглашен к Дзержинскому, однако с совещания уехал несколько раньше, он спешил домой, в кармане уже был билет на поезд Москва — Харьков.

Встретил он неожиданный визит своего молодого коллеги с некоторым удивлением, хотя они были уже давно знакомы.

Збарский посмотрел на дорожный чемодан, куда Владимир Петрович укладывал вещи, и немедля приступил к делу.

Произошел разговор, который запомнился им обоим на всю жизнь.

— Владимир Петрович, а если мы с вами все-таки возьмемся?

— За что, позволю спросить?

— Вы догадались.

— Все-таки?

— Я предлагаю взяться за это нам вдвоем. Вместе. За Это.

Воробьев, ничего не сказал, продолжал укладывать чемодан.

Збарский сказал:

— Это будет союз анатома и биохимика. И мы добьемся. Мы вдвоем — добьемся. Мы, вдвоем.

— Вы мальчишка, вот вы кто, — сердито бросил Воробьев. — И вам терять нечего. А я потеряю. Свою репутацию. И простите, сударь, мне пора на поезд.

Стал снова швырять вещи в чемодан. Збарский следил за ним молча. Воробьев поднял голову, словно бы удивляясь, что Збарский еще не ушел. И вдруг спросил:

— Нет, вы скажите честно, вы действительно верите, что мы можем взяться за этот рискованный, вы меня понимаете, какой рискованный эксперимент? И не догадываетесь, что Это может обернуться для нас обоих вселенским позором?

— Один бы я — отказался. Вдвоем — да. Можем.

Воробьев молча стягивал ремни чемодана.

— А на Красной площади, — задумчиво произнес Збарский, как бы ни к кому не обращаясь, — я проходил утром, по-прежнему стоят толпы, огромные, ехали через всю Россию. И знаете, что они делают? Плачут. Я это видел сам. Да, именно плачут оттого, что доступ прекращен и они его никогда, никогда не увидят.

— Что вы хотите сказать?

— Ничего.

— До свиданья, — сказал мрачно Воробьев, не глядя на Збарского и давая понять, что беседе конец. Збарский не двигался. — До свиданья. — Збарский молчал. — А если — провалимся? — вдруг спросил Воробьев. Збарский молчал. — Ну что вы, милостивый государь, черт бы вас побрал, набрали воды в рот? Не догадались, коли уж я вас спросил, мне было надобно знать — вы-то, вы-то сомневаетесь или нет? А коли вы не сомневаетесь — черт с вами, я от вас не отстану. — Отшвырнул ногой чемодан. — Жаль, билет на поезд пропадет. А впрочем, черт с ним, как и с вами…

Так с чертыханья и началось это содружество, или, как его обнадеживающе назвал Збарский, союз анатомии и биохимии, союз, вошедший в историю науки и государства.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

С великим интересом читаю в книге Бориса Ильича весьма примечательные и, разумеется, малоизвестные широкому кругу людей как у нас, так и во всем мире факты об этом искусстве сохранения тел человеческих на сроки более или менее продолжительные[1].

Обычай не хоронить умерших в земле существовал еще за несколько лет до нашей эры у египтян, и китайцев, и гуанхов — жителей Канарских островов.

Наивысшим искусством бальзамирования обладали египтяне; и у нас в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, есть египетские мумии.

Тайна бальзамирования тоже хранилась неукоснительно — у египтян и финикян ею владели особые касты, они держали в секрете все без исключения способы бальзамирования.

Однако у греческих историков Геродота, Диодора Сицилийского Борис Ильич нашел описание техники сохранения в Египте.

Можно считать более или менее выясненными способы бальзамирования египтян — они высушивали тела умерших.

Збарский полагает, что мысль о таком способе сохранения подсказана самой природой.

Он утверждает это удивительно простым и точным наблюдением экспериментирующего ученого.

При переходах караванов через пустыню часто умирали люди, сопровождавшие караван верблюдов. Умиравших хоронили тут же, в знойных песках, везти с собой покойников не было сил.

А в сухом горячем песке происходило быстрое высыхание — как известно, в теле человека вода составляет почти три четверти его веса.

Высохшее тело может долго сохраняться — ткани, лишенные воды, не подвержены разложению. В пустынях, когда разрывали могилы, находили высохшие мумифицированные тела.

И египтяне, хотя и не знавшие процессов, которые протекают в телах умерших, сделали вывод — для сохранения нужно высушить тело, удалить из него всю воду.

Это было одно наблюдение.

Второе, тоже немаловажное для науки: уже в древности известно было действие солей — поваренной соли, селитры, извести, некоторых смол — мирры, асфальта, черной смолы…

Из научных догадок, исследований и различного рода анализов можно было сделать вывод: пропитывание различными смолами, солями, маслами, высушивание на солнце или в специальных печах — при таком способе сохранения терялось какое-либо сходство с умершим, он превращался в мумию, которая помещалась затем в герметически закрытый ящик, ему придавалась форма человеческого тела.

Сверху мумия украшалась живописью, чаще всего изображением умершего в красках. Бывали и сцены из его жизни.

Борис Ильич напоминает о том, что древние народы применяли и иные способы, так, например, у персов и евреев хотя и не было мумий, однако тела некоторых знатных людей бальзамировали.

Известно также, что тело Александра Македонского долго сохранялось в меду. Иосиф Флавий пишет о том, что тело иудейского царя Аристобула сохранялось в меду до времен Антония…

Но шли годы, впрочем, не годы, а столетия, искусство бальзамирования стало забытым.

Борис Ильич в своем рассказе прослеживает все этапы науки о сохранении.

Оказывается, уже в средние века в Италии, в Болонье, возникла идея бальзамировать римского папу Александра V, но и эта попытка в конце концов закончилась неудачей.

Оказывается, и Петр Первый, в пору его пребывания в Голландии, купил у амстердамского ученого за 30 тысяч

флоринов коллекцию анатомических препаратов для сохранения и привез ее в Санкт-Петербург. Но дальше этого начала дело не двинулось.

Можно было бы продолжить рассказ о переходивших из столетия в столетие существования человечества неоднократных попытках сохранения, однако довольно сказать, что ни одна из них не привела к сколько-нибудь весомым результатам.

Справедлив вывод — аналогов удачного решения этой научной проблемы в истории наук пока не было.

Я уже писал, подчеркивал ранее, что идея бальзамирования В. И. Ленина возникла стихийно, никто не может в точности установить, кому она принадлежит, но вот то, что Феликс Эдмундович Дзержинский был инициатором научного вмешательства в решение этой не имеющей прецедентов в истории человечества задачи, — это точно.

Пока — об эксперименте, хотя бы на некоторый срок. Речь шла хотя бы о том, чтобы продлить срок на месяц. Но, конечно, начали обсуждать более широкие планы.

Как решить проблему так, чтобы сохранение пребывало на воздухе, при обычной температуре? Чтобы стало возможным каждодневное обозрение многими тысячами людей нетленного облика Ленина?

Совершенно очевидно — ни один из известных науке способов сохранения не подходил к тем условиям, которые были поставлены перед учеными Советским государством.

Правительство опубликовало следующее извещение:

> «После смерти В. И. Ульянова (Ленина) тело его было подвергнуто бальзамированию обычным способом, имевшим целью временное его сохранение.
>
> В настоящее время, идя навстречу желаниям широких масс Союза ССР и других стран — видеть облик покойного вождя, комиссия по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) решила принять меры, имеющиеся в распоряжении современной науки, для возможно длительного сохранения…»

Решение датировано 25 марта 1924 года.

А 26 марта Владимир Петрович, Борис Ильич и сопровождающие их ассистенты спустились впервые в Мавзолей и приступили к работе.

Комиссией по увековечению памяти В. И. Ленина было поручено вести общее наблюдение за работой Л. Б. Красину,

профессорам В. Вейсброду и В. Н. Розанову.

Председателем комиссии был Феликс Эдмундович Дзержинский, и в своих воспоминаниях Борис Ильич воздает ему должное, подчеркивая, что он содействовал Воробьеву и Збарскому с таким тактом, с такой чуткостью, что «удачными результатами нашей работы мы во многом обязаны ему».

Итак, предложенный Збарским Воробьеву союз анатомии и биохимии с учетом новейших достижений и той, и другой науки превратился в живую реальность.

— Нам приходилось на ходу производить один за другим ряд экспериментов, выяснять шаг за шагом возможности применения последних достижений анатомии и биохимии. И… трудно передать наши переживания. Мы почти не выходили из Мавзолея в течение нескольких дней. Без сна и отдыха мы настолько переутомились, что едва держались на ногах.

Узнав об этом, Дзержинский пригласил Збарского к себе.

— Что вы делаете! Разве так можно?

Борис Ильич объяснил: предпринятые научные исследования и наблюдения требуют беспрерывного присутствия. Тогда Дзержинский взял со Збарского слово, что они с Воробьевым будут чередоваться и часть дня отдыхать.

Через два-три часа после этой беседы на Красной площади появилась группа рабочих и инженеров, и за одну ночь к Мавзолею провели трамвайные рельсы и провода. А на другой день возле Мавзолея Збарский и Воробьев увидели специально оборудованный вагон трамвая.

— В этом вагоне были приготовлены для нас постели, умывальные принадлежности, электрические плиты…

В научной работе бывают и радости, и тревоги, и разочарования. Однажды, после какого-то неудачного опыта, Борис Ильич вдруг решил: ничего не получится.

Его охватило внезапное глубокое отчаяние, и, как назло, рядом не было его сподвижника — отлучился, на день уехал в Харьков. Что делать? Их с Воробьевым ждет поражение, которое никто не простит. Прежде всего — они сами.

Отчаяние овладевало все больше, он решил позвонить Дзержинскому и честно предупредить его о своих сомнениях. Не откладывая до возвращения Воробьева из Харькова, немедленно.

Дзержинский взял трубку, Збарский попросил немедленного приема. Дзержинский сказал, что он его ждет.

Уже по лицу Збарского Дзержинский понял: дело плохо, рассказывает Борис Ильич. Да так оно и было. «Тогда мне казалось, да что там казалось, я был убежден в те минуты — все кончено, надо отказываться…»

«Поняв, что со мною что-то происходит, он не стал расспрашивать меня, листал какие-то папки, о чем-то вслух со мною рассуждал, с горечью говорил о том, как трудно сейчас, в каких сложностях живет страна, рабочие, вся партия. И вдруг внезапно спросил: «А что у вас случилось?» И я, неожиданно для себя, сказал решительно: «Все хорошо». Почему я так сказал — сам не понимаю, но — сказал».

…Когда Збарский в конце 1953 года был освобожден и вернулся домой, ему было возвращено все — до записной книжки, до рабочего блокнота, до последней облигации, все его вещи и работы, взятые при аресте. Не было только портрета Феликса Дзержинского. Не вернули.

Хорошо, осталась фотография, находящаяся сейчас у сына, Виктора Борисовича, которому в день ареста отца было девять лет. Борис Ильич у себя в кабинете, над ним портрет с дарственной надписью.

Примерно через месяц после начала работы ученые решили предоставить себе краткий отдых — у них обоих совершенно иссякли силы. Отдых требовался после невероятного напряжения. Решено было — Воробьев уедет на несколько дней к себе в Харьков. А по возвращении и Збарский воспользуется несколькими днями отдыха.

Воробьев уехал. Збарский вновь в их практике совместного труда остался один. Разумеется, все научные работы, которыми он тогда занимался, были решительно отставлены, и неизвестно пока, на какой срок. После отъезда Воробьева он просто не покидал Мавзолей. Кроме короткого сна.

И вот тут-то произошло, как ему показалось, несчастье.

На лице Владимира Ильича появились некоторые изменения.

Это было уже ночью, и невероятно взволнованный, Збарский решил срочно вызвать своего коллегу из Харькова, кинулся на Лубянку, из комнаты секретаря Дзержинского связался с Харьковом, разбудил Воробьева и сообщил ему о своих драматических впечатлениях. «Я буквально кричал и настаивал на немедленном его приезде. Разговор длился несколько минут».

Воробьев обещал вернуться в Москву незамедлительно.

Борис Ильич повесил трубку и увидел вышедшего из кабинета Дзержинского.

«Что с вами? На вас лица нет. Разве можно так волноваться? Пойдемте ко мне в кабинет, и расскажите, что случилось».

Дзержинский стал как мог уговаривать Збарского, уверять: все наладится. Воробьев приедет, и они вдвоем разберутся, он,

Дзержинский, убежден, что опасениям не суждено сбыться, и Збарский действительно пришел в себя, и даже стал улыбаться, особенно когда Дзержинский пожаловался ему, что Борис Ильич так кричал в трубку, что разбудил его, ведь он уже давно спал, и показал походную кровать, на которой приходилось очень часто ночевать. Так он окончательно успокоил ученого.

Не однажды вспоминал потом Борис Ильич эту ночь.

Воробьев приехал первым же поездом, но к его приезду Борис Ильич, как он рассказывал мне потом, сам убедился в несостоятельности своей тревоги — изменений не было, он ошибся, может быть, свет на лицо упал не так…

Когда писались эти строки, позвонил почтальон и вручил шестой, июньский, номер «Нового мира» за 1987 год.

В числе других интересных и содержательных материалов, которые были опубликованы в этом номере, я прочитал «Воспоминания и мысли» о Борисе Пастернаке, принадлежащие Николаю Николаевичу Вильмонту, умершему в 1985 году, известному историку, исследователю немецкой классической литературы и философии, литературоведу, автору ряда незаурядных работ о нашей отечественной литературе. Он был близок Пастернаку в разные периоды жизни поэта, и надо было представить мое удовольствие, когда я внезапно обнаружил страницы о месте, которое занимал Борис Ильич в жизни Бориса Леонидовича Пастернака, и не только в жизни, оказывается, — и в литературе.

Вот что было там написано:

> «…Борис Леонидович дал мне прочесть прозаический отрывок, напечатанный в старой газете, кажется, 1918 года, издававшейся левыми эсерами (тогда даже кадеты до поры до времени еще выпускали свой еженедельник «Народная свобода», почти сплошь состоявший из мрачных исторических параллелей в Великой французской революции). Я прочел этот отрывок с привычным для меня восхищением, но помню его плохо. Речь в нем шла, если я не очень ошибаюсь, о возвращении вскоре после февральской революции с военного уральского завода (в Москву или в Питер) одного интеллигента, ссыльного или только в прошлом причастного к революции, чуть ли не инженера-химика, прототипом и моделью которому послужил, как сказал мне автор, столь известный впоследствии профессор Б. И. Збарский. Художественную же прелесть отрывка

составлял снежный, чуть начинавший таять и оседать простор мартовской панорамы, охватывавшей далеко отстоящие друг от друга верхнюю и нижнюю дороги, по которым мчались в два оборота запряженные тройками сани и откуда с разной четкостью доносились голоса ямщиков и проезжавших».

И вновь возникли в памяти и огромные имения Саввы Морозова, и «Урал впервые», и Кама, и Тихие Горы, и радость открытия хлороформа, и санный путь в лесу, вот откуда родился и как зрел этот пастернаковский замысел, жаль, не осуществившийся, но так или иначе прочно вошедший в круг его писательских размышлений.

Стало быть, фигура Бориса Ильича представлялась Пастернаку весьма привлекательной и значимой, достойной художественного воплощения…

МАЙ 1924 ГОДА. Прошло два месяца с того часа, когда Воробьев и Збарский спустились впервые в Мавзолей. Работа настолько продвинулась вперед, научная уверенность настолько окрепла у обоих ученых, что, когда Ф. Э. Дзержинский спросил, можно ли хоть на один день открыть для делегатов открывающегося в мае съезда партии Мавзолей, они ответили согласием.

Тринадцатый съезд партии. Первый съезд — без Ленина.

Съезд состоялся с 23 по 31 мая 1924 года. И на второй день после того, как председательствующий на нем Л. Б. Каменев объявил в четыре часа дня о закрытии утреннего заседания, делегаты посетили Мавзолей.

Впечатление было необыкновенным.

Пришла Надежда Константиновна, другие члены семьи Ленина. Дмитрий Ильич, брат Ленина, ответил на вопрос Збарского, сохранилось ли сходство:

— Я сейчас ничего не могу сказать, я сильно взволнован. Он лежит таким, каким я его видел тотчас после смерти.

В июне 1924 года Воробьев и Збарский прервали работу и снова открыли на один день Мавзолей — его посетили участники шедшего в Москве пятого конгресса Коминтерна.

ДЕНЬ 26 ИЮЛЯ 1924 ГОДА стал знаменательной датой в жизни двух ученых и их сотрудников. В этот день — ровно через четыре месяца с начала работы — комиссия ЦИК СССР пришла в Мавзолей.

В полном составе.

Комиссия подчеркнула в своем заключении, что бальзамирование признается вполне удачным, оно покоится, по мнению экспертов, на прочных научных основаниях, дающих право рассчитывать на продолжение в течение ряда десятилетий сохранения в состоянии, позволяющем обозревание Ленина в закрытом стеклянном гробу, при соблюдении необходимых условий со стороны влажности и температуры.

По мнению комиссии, необходимо постоянное внимательное наблюдение…

Это наблюдение продолжается учениками Бориса Ильича Збарского и по сей день, когда пишутся эти строки…

В канун открытия Мавзолея для каждодневного посещения, 31 июля 1924 года, в «Известиях» была напечатана статья об этом исключительном событии в жизни отечественной науки, в жизни государства.

> «В работе бальзамирования проф. Збарский принимал самое близкое участие как биохимик. Проф. Збарскому вместе с проф. Воробьевым комиссия по увековечению памяти В. И. Ленина поручила дальнейшее наблюдение… дабы сохранить на продолжительное время».

Вот тогда-то и был выписан постоянный пропуск на вход в Мавзолей.

«Он сохранился до нашего времени, — пишет П. Николаев в своем очерке о Б. И. Збарском в журнале «Собеседник» в 1985 году, — которое оставило свой след на этой реликвии: потрепались обложки, затерлись уголки, поблекли фиолетовые чернила на развороте документа».

Придет час, когда этот пропуск окажется недействительным.

МОСКВА, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.

7 ноября 1918 года здесь, в первую годовщину Октябрьской революции, Владимир Ильич открыл мемориальную доску.

«Павшим в борьбе за мир и братство народов».

Мемориальная доска-барельеф работы одного из крупнейших скульпторов России Сергея Коненкова.

Здесь, у Кремлевской стены, были похоронены 238 красногвардейцев и солдат, погибших в Октябрьскую революцию.

«За мир и братство народов».

И ныне, как и в восемнадцатом году, звучат эти слова, сформулированные тогда, в дыму и пожарах гражданской войны и интервенции.

Потом здесь найдут вечный покой Свердлов и Фрунзе, Дзержинский и Куйбышев, Киров и Орджоникидзе, Клара Цеткин и Жуков…

И — Ленин.

Красная площадь.

В старину Красная означало — красивая.

Собор Василия Блаженного, Лобное место, каменный помост, с которого читались царские указы, памятник Минину и Пожарскому, Спасская башня, Кремлевские куранты…

Речь Ленина здесь в 1918 году была кратка и страстна.

Напомнил: «…история России за целый ряд десятилетий нового времени показывает нам длинный мартиролог революционеров. Тысячи и тысячи гибли в борьбе с царизмом. Их гибель будила новых борцов». Призывал — подражать их бесстрашию и героизму, дать клятву перед их памятником идти по их следам. И провозгласил лозунг: «Победа или смерть».

Именно так стоял вопрос в восемнадцатом году.

Красная площадь.

Мавзолей Ленина.

Планета давно привыкла к этой неотъемлемой частице сегодняшней Москвы, навечно вписавшейся в неповторимый ансамбль Красной площади.

Мавзолей стал символическим обозначением центра мирового революционного движения, памятью России, памятью Мира, памятью Человечества.

Проект его, как мы уже писали, принадлежит академику Алексею Викторовичу Щусеву. Писали и о том, что поначалу Мавзолей был деревянным.

Затем его заменили другим, точно воспроизводящим архитектурный облик деревянного, но облицованным черным и серым лабрадором и красным украинским гранитом. Таким образом, общая композиция сохранилась, но увеличилась монолитность здания.

Мрамор, порфир, Лабрадор и габронит — из карьеров Украины, венчающая Мавзолей плита — из красного порфира Карелии, колонны — из различных пород гранита, привезенного из многих, если не всех республик страны.

Над дверями, ведущими в Мавзолей, плита черного гранита.

В нее врезано (из красного полированного гранита) единственное слово —

ЛЕНИН.

Сюда, в Мавзолей, в марте 1953 года был внесен второй саркофаг.

Со Сталиным.

Сталин лежал рядом с Лениным.

И на Мавзолее к слову «Ленин» добавилось: «Сталин».

Спустя несколько лет после Двадцатого съезда, по решению государства, саркофаг с телом Сталина был вынесен из Мавзолея и Сталин похоронен в земле у Кремлевской стены.

На гранитной плите Мавзолея осталось одно, единственное — ЛЕНИН.

Ленин был и остался — единственным.

Надежда Константиновна Крупская жила на территории Кремля и часто посещала Мавзолей.

Борису Ильичу сообщали о предстоящем визите, и он немедленно выезжал, как бы ни был занят на кафедре биохимии или в лаборатории.

Как-то она позвонила в комендатуру, что придет. Борис Ильич ждал ее, и они вместе подошли к саркофагу.

Долго всматривалась в знакомые черты. Потом повернулась к Збарскому, тихо сказала:

— Борис Ильич, он все такой же, а я так старею…

Через полгода, в 1939 году, она умерла.

…Борис Ильич говорил мне:

— А вы знаете, Сталин после войны так ни разу и не вошел в траурный зал. Когда на Красной площади были парады и демонстрации, несколько раз предупреждали, чтобы я был готов встретить Сталина, если он задумает спуститься к саркофагу. И всегда в эти дни я ждал его там, в Мавзолее. Но за все эти годы в траурный зал он не спустился.

— Чем вы объясняете?

Пожал плечами.

— Не могу вам сказать.

— Но все-таки?

— Может быть, боялся…

— Чего?

— Смерти. — И помолчав: — Пойдемте-ка пить чай. — За чаем рассказывает: — А знаете, меня преследуют сны. Вечные сны, от которых просыпаешься со страшным ощущением тревоги. Дело, очевидно, в том, что всю жизнь все 24 часа я подключен к Мавзолею. Я сам дал распоряжение — если даже муха влетит в саркофаг, заниматься ее удалением без меня категорически

запрещаю. Если она влетала, мне тотчас же звонили по телефону: «Борис Ильич, высылаем машину, муха в саркофаге». И я вскакиваю и мчусь как сумасшедший…

Борис Горбатов писал:

> «Мы медленно идем мимо ложа Ленина, нас много, и нам даны короткие секунды… как много мыслей проходит в эти короткие секунды здесь, у порога бессмертия…»

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ БОРИСА ИЛЬИЧА в эти годы не блистала счастьем.

Еще там, в имениях Саввы Морозова, он поставил верный и точный диагноз, когда с печалью обнаружил трещину в своих отношениях с Фанни Николаевной, предсказав сам себе, что трещина может обернуться пропастью и привести к неизбежному краху.

Так и произошло.

Обаятельная каменец-подольская гимназистка с черным бантом была его любовью, первой и единственной, он относился к ней трепетно, преданно, надеясь обрести в ней не просто жену, но и единомышленника, человека, разгадавшего одержимость его натуры, требовавшей действия, непрерывного горения, поиска, страстного увлечения научным ДЕЛОМ, которому он отдавал всего себя без остатка.

Этого не было.

Взаимная их отчужденность сказывалась во многом и становилась все тягостней.

Приезд матери Бориса Ильича в Тихие Горы и брошенная ею фраза — решили. Все точки над «i» были поставлены.

Должен был последовать развод.

И он фактически последовал. В 1922 году.

Борис Ильич настоял на том, чтобы их десятилетний сын, Илюша, Элик, как его ласково называли в семье, остался с ним.

Согласилась.

Тут же Борис Ильич облегчил ей будущее существование, поддерживая ее материально.

Некоторые из его друзей в глубине души полагали, что он еще может изменить принятое ими обоими решение, ведь они знали, как он ее любил.

Нет, теперь отношения были строго официальные.

Со свойственной этому мягкому человеку твердостью он к этому вопросу никогда не возвращался.

Поселился он в эти далекие годы, как мы уже говорили, на Воронцовом Поле, там, где был прекрасный особняк крупного промышленника Вогау.

Особняк Вогау был сожжен в 1914 году в русско-германскую войну во время немецкого погрома. На его фундаменте построен Физико-химический институт им. Л. Я. Карпова. Здание Биохимического института принадлежало ранее компаньону Вогау — Гуго Марку, который в 1914 году пожертвовал свой особняк под научный институт, благодаря чему он и уцелел.

Борис Ильич жил с десятилетним Эликом, катавшимся на самокате по дорожкам красивого палисадника.

Жил на холостяцкую ногу, звал гостей радушно и с удовольствием, в час обеда приходил к нему живший в соседнем доме друг его, старший и дорогой, академик Алексей Николаевич Бах, общение с которым доставляло наслаждение.

Збарский любил Баха смолоду настоящей сыновней любовью.

И все-таки, все-таки теперь он был одинок.

Не было рядом верной подруги, жены, делившей с ним его тревоги, любившей его так, как он хотел, чтобы его любили.

Он был одинок.

В парадном зале института устраивались товарищеские вечера с любительскими музыкальными выступлениями, салонными играми, шарадами, очень модными тогда, со скромным застольем. Частыми гостями бы и здесь и друзья Бориса Ильича, в том числе народный комиссар здравоохранения Н. Семашко, очень известный всей интеллигенции деятель культуры Артемий Халатов, бывали желанными люди искусства — связи с ними Збарский никогда, ни в прошлом, ни в будущем, никогда не обрывал. Они были ему просто необходимы как важная часть его жизни, где бы он ни был…

Не помню точно, но как будто именно там, в парадном зале, и случилось знакомство с актрисой Музыкального театра-студии под руководством К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Ольгой Баклановой.

Она была талантлива, грациозна, шаловлива, изящна, одаряла пленительными улыбками людей, которые ей нравились и которым она нравилась.

Борис Ильич увлекся Ольгой Баклановой.

Они стали встречаться. Чаще и чаще.

Он ей тоже нравился.

У нее был муж, к которому она относилась, видимо, равнодушно, во всяком случае, подчеркивая в откровенных разговорах с Борисом Ильичом, что брак этот стал уже носить скорее формальный характер.

Збарский ходил на все спектакли, в которых она играла, радовался ее выдающемуся успеху в «Корневильских колоколах», приносил ей регулярно цветы, она уже привыкла к тому, что он ждал конца спектакля, чтобы проводить ее домой.

С каждым днем она была все благосклонней к Борису Ильичу, и однажды, решив, что с мужем она неизбежно расстанется, он отважился и приготовился сделать ей в этот вечер предложение.

В этот вечер она играла спектакль. Он поехал в театр, его уже здесь знали, через служебный подъезд пришел к ней в гримуборную.

Она переодевалась за ширмой, а в креслице у туалета он неожиданно и с некоторым смущением обнаружил мужа.

Борис Ильич поздоровался преувеличенно вежливо, тот чуть насмешливо взглянул на цветы, принесенные молодым ученым, и тут Борис Ильич заметил, как актриса выглянула из-за ширмы и, кивком головы показав ему на мужа, высунула язык.

Муж ничего не успел заметить, он сидел к ней спиной.

Но для Бориса Ильича все было кончено. Вульгарный жест его потряс.

Вскоре Ольга Бакланова уехала за границу и уже в Россию не вернулась.

А Борис Ильич остался холостяком.

В эти годы Збарский был назначен представителем СССР в Лиге Наций, в одной из ее постоянных комиссий. Надежные и проверенные ассистенты и сотрудники Мавзолея делали возможным его отъезды в Женеву на пленарные заседания.

Однажды, когда Борис Ильич отправился в очередную поездку в Лигу Наций, на пограничной в те годы станции Негорелое к нему в купе сел какой-то иностранец. Через несколько минут опытному и разбирающемуся в людях Збарскому стало ясно — тот подсел не случайно.

Так и было. Новый пассажир, якобы только что узнав, кем был его спутник, завел разговор о Мавзолее, сказав между прочим с улыбкой, что русские и ныне проявили полную практическую беспомощность в вопросах, связанных с доходами и дивидендами. Будь такой прецедент в нашей стране, плата за вход, даже самая скромная, дала бы миллионы долларов. И, нимало не смущаясь, новый пассажир предложил Збарскому, чтобы тут, за границей, конечно же за самое высокое вознаграждение сообщить, хотя бы в общих чертах, секрет бальзамирования. Збарский вежливо, но непреклонно попросил настойчивую личность тотчас же пересесть в другое купе.

И не раз в пору его поездок в Лигу Наций ему досаждали аналогичными «инициативами»…

И, разумеется, получали тут же полный и резкий отказ.

В одну из таких поездок за рубеж ему нужно было посетить Берлин.

Там, пользуясь оказией, он навестил отца Бориса Леонидовича Пастернака, Леонида Осиповича, с которым, как мы знаем, поддерживал дружеские отношения с давних пор, еще до войны…

Здесь и случилось знакомство с Женей — подругой родной сестры Бориса Пастернака. Она была лаборанткой Берлинского университета.

Женя, Евгения Борисовна, была контрастно противоположна во всем Ольге Баклановой, не сверкала ни нарядами, ни экстравагантностью, улыбка чуть иронична, да и нечаста, природа не наделила, как Бакланову, воздушностью, обаятельной женственностью, но, быть может, именно контрастность с былым увлечением пришлась по сердцу разочаровавшемуся из-за памятного случая в гримуборной Борису Ильичу.

Потом была еще одна служебная поездка в Берлин, и Збарский снова навестил семью Пастернаков, снова там оказалась подруга сестры Бориса Леонидовича, Лидии Леонидовны, соученица Женя. И Борис Ильич, выйдя с ней на улицу после визита, предложил ей прогуляться по Унтер-ден-Линден и по шумному Курфюрстендамму, и они долго гуляли, и он проводил ее до дома, где она жила, и, прощаясь, признался, что встреча с ней украсила ему поездку за рубеж, и с мягкой своей улыбкой, полушутя-полусерьезно заметил, что он холост и что если бы когда-нибудь, то… Оборвал фразу, но студентка Женя и так поняла все и против своего скромного обыкновения внезапно дотронулась до его руки. Збарский вернулся домой, в Москву, а Женя, окончив университет в Берлине и получив ученую степень, уехала в Соединенные Штаты, ее пригласили и уже ждали там американские родственники.

Однако отъезд в Америку не оборвал их завязавшихся в Берлине дружеских отношений, они переписывались все интенсивнее, и в одном из писем он сделал ей официальное предложение — стать его женою и переехать в Россию.

Это было в 1927 году.

Она пересекла океан, пересекла границу Германии, села в поезд, идущий в Россию, и приехала в Москву.

Очевидно, для такой поездки у нее были все душевные основания, иначе почему бы ей решиться на столь отчаянный шаг?

Збарский встречал на вокзале. К тому времени ему было уже сорок два года. Ей — двадцать семь.

Она как-то застенчиво и торопливо поцеловала его в щеку, и носильщик понес вещи к извозчику.

Погода была дурная, скучная, моросил унылый дождик, колеса скользили на ухабах скверной мостовой, по тротуарам шли плохо одетые люди. Женя, теперь уже Евгения Борисовна, смотрела с неприкрытой тоской на чужую серую, скучную улицу и время от времени вздыхала. Ей вообще был свойствен скепсис и душевная тоска, но Борис Ильич не знал этого и растерялся, она молчала, и он молчал и в молчании думал только об одном — не поспешил ли он, не совершил ли роковую ошибку, размахнувшись и сделав предложение так категорически, через океан…

Но уже было поздно. Они поженились, скрепив в загсе свои отношения.

И загс тоже ей не понравился своим унылым, непраздничным и казенным ритуалом.

Но уже было поздно.

И она ходила по квартире, увы, не ставшей ее домом, и, когда Бориса Ильича не было дома, а его не было дома почти никогда, он был занят буквально с утра до вечера, она бродила по комнатам, не зная, куда себя девать, и подходила к окну, и повторяла вслух: «Тоска, тоска…»

Вскоре она начала работать, сначала в Биохимическом институте, а позднее — в Институте питания, старшим ассистентом — нынешним старшим научным сотрудником. Она также занималась переводом научных монографий с английского на русский, и они издавались в Москве.

Однажды у них были гости. Евгения Борисовна была, как обычно, сдержанна с ними, вежлива по-европейски, но по-европейски и равнодушна и холодна. И вдруг, когда гости стали ее расспрашивать об Америке и о том, как она смело решилась пересечь океан, она оживилась и даже с увлечением, совершенно неожиданным, внезапным для Бориса Ильича, стала рассказывать о том, как она плыла на гигантском пароходе из Нью-Йорка в Гамбург, и как ее угостил какой-то милый попутчик, не то испанец, не то итальянец, каким-то волшебным вином, кажется, оно называется «Отсотеро» или «Осотеро», и оно, это вино, ей так понравилось, что она пила его за время этой долгой поездки несколько раз, хотя она ничего вообще не пила, кроме чая или кофе. Этот рассказ был так нетипичен для Евгении Борисовны, как и ее небывалая веселость и даже какое-то потаенное лукавство. Борис Ильич с великим изумлением смотрел, и слушал, и загрустил. Он никогда не видел ее столь оживленной, разве что в короткий миг когда-то в Берлине на улице под липами у Бранденбургских ворот.

И когда она закончила свой рассказ про свое долгое и чудесное, по ее словам, путешествие, Борис Ильич поднял бокал и предложил гостям выпить «за «Осотеро», вино, которое он никогда не пил, но которое, очевидно, связано с какой-то тайной океана, известной одной лишь его дорогой супруге. И тут Евгения Борисовна засмущалась, что ей было обычно несвойственно, и порозовела от смущения, что тоже ей не было свойственно. И Борис Ильич взглянул на нее и загрустил еще больше.

А она тоже, тут же, стала обычной холодно-вежливой Евгенией Борисовной, какою ее всегда привыкли видеть и Борис Ильич, и его друзья, и она с тоскою накрывала на стол и с тоской давала распоряжения о том, чтобы открыть еще вино кому-нибудь из вновь прибывших гостей, и делала все это с такой скукой, что у гостей и вовсе пропадала охота пить и гостям тоже становилось неуютно смотреть на это одно и то же выражение ее лица, хотя они была и вежлива, и внимательна к ним.

Такой уж это был характер, контрастный и с артистической натурой Ольги Баклановой и, что еще хуже, с натурой самого Бориса Ильича.

В 1931 году у них родился сын и был наречен двойным именем: Феликс-Лев. В память Ф. Э. Дзержинского и Л. Я. Карпова, которых уже не было в живых. Л. Я. Карпов скончался в 1921 году, Ф. Э. Дзержинский умер внезапно от разрыва сердца в 1926 году на Пленуме ЦК.

Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому было тогда всего сорок восемь лет…

…Я — СОЛДАТ. На весенне-учебном сборе командиров и политработников запаса, под Лугой. Год одна тысяча девятьсот тридцать четвертый.

Льют дожди.

Ночью приходит в мокрую палатку телеграмма.

В Ленинграде ждет постоянный гостевой билет на все заседания Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

После нескольких недель постылых дождей, преследовавших и на марше по раскисшим проселкам, и на стрельбище, и на глинистых оползающих высотках, где шли боевые учения, впечатление от блистающего Колонного зала, от шумящих его кулуаров, от белого мрамора и красного бархата, от ампирной анфилады колонн и люстр, а главное — от беседующих, спорящих, смеющихся группок, среди которых можно узнать Серафимовича и Мальро, Арагона и Фадеева, Эрнста Толлера и Сергея Эйзенштейна, Алексея Толстого и Витезслава Незвала и

многих других, без чьих имен не представишь историю культуры двадцатого столетия, — это впечатление было ослепительным. Даже, пожалуй, ирреальным.

…Исповедь Олеши. Не стесняясь трибуны, сотен глаз, гостей из-за рубежа, сверканья люстр, стенографисток, говорит о том, что тревожит, мучает, внушает надежду писать лучше, чем писал:

> «…мир с его травами, зорями, красками прекрасен, и делала его плохим власть денег, власть человека над человеком».

Откидывая характерным взмахом руки красивые седые волосы, поднимается на трибуну молодой Фадеев.

Гладков, Федин, Бабель, Погодин, Тихонов, Соболев, Либединский, Тренев, Чуковский, Пастернак, Афиногенов, Файко, Кольцов, Форш, Луговской, Эренбург…

Я писал эти строки в юбилейный номер «Литературной газеты». Писал — сорок лет спустя. Писал о том, что пленило меня, молодого литератора, — и их творческое кредо, их смелое размышление вслух. Их взволнованность — о ней говорил с трибуны мой друг Борис Лавренев. Всеволод Вишневский предупреждал: «Должны мы держать в исправности револьвер и хорошо знать тот призывный пункт, куда надлежит явиться в случае необходимости». Эти слова были повторены мною в драматической трилогии «Художник и революция». Третья часть трилогии названа «У времени в плену» — пастернаковской строчкой…

> Не спи, не спи, художник,
> Не предавайся сну,
> Ты — вечности заложник,
> У времени в плену.

И Пастернак взял слово на съезде.

> «…Двенадцать дней я из-за стола президиума вместе с моими товарищами вел с вами безмолвный разговор»…
>
> «Не жертвуйте лицом ради положения…»
>
> «…При огромном тепле, которым окружает наш народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки, во имя ее прямых источников, во имя большой, и дальней, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям».

Заключительное слово Горького. Исполнено драматическими предчувствиями.

> «…Мы вступаем в эпоху, полную величайшего трагизма, и мы должны готовиться, учиться преображать этот трагизм в тех совершенных формах, как умели изображать его древние трагики».

…Это было сказано на двадцать шестом, заключительном заседании съезда.

Первого сентября 1934 года.

До первого декабря 1934 года оставалось ровно три месяца…

Прямо из Колонного зала Дома союзов, с Первого Всесоюзного съезда советских писателей, избранный в его президиум, пришел навестить Бориса Ильича Борис Пастернак.

Ему понадобилось уточнить какие-то детали своих уральских воспоминаний — зрел тогда замысел повести, в которой прототипом был именно он, Борис Ильич.

Но главным было, как рассказывал потом мне Збарский, желание, потребность скорей поделиться впечатлениями от необычно взволнованной общей атмосферы съезда.

Он был взбудоражен, растроган.

Рассказывал с живостью о бурнейшей дискуссии, вспыхнувшей после доклада Николая Ивановича Бухарина, доклада, как он именовался, «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР».

И о том, как его, Пастернака, стихи тоже стали предметом страстного обсуждения. Бухарин назвал его «поэтом крупного калибра», и даже самое первое упоминание докладчиком его имени вызвало бурные аплодисменты зала.

Пастернак был, несомненно, обрадован той приподнятой тональностью, с какою говорилось о его стихах, равно как и тем, что Н. И. Бухарин процитировал Эдуарда Багрицкого:

> А в походной сумке —
> Спички и табак,
> Тихонов,
> Сельвинский,
> Пастернак.

Не остался равнодушным Борис Леонидович и к тому, что докладчик высоко оценил пастернаковское видение Ленина в поэме «Высокая болезнь».

Я помню и эти места в докладе, и сам доклад, поразивший широтой и глубиной, неординарной эрудицией, блистательным, свободным вдохновенным владением огромным художественным материалом и богатством литературного и теоретического багажа, оригинальностью мышления… Такой доклад не мог не вызвать дискуссию, различия в оценках, естественно обнаружив разные направления взглядов на поэзию, и в частности на поэзию его, Пастернака.

И сейчас, в 1987 году, я снимаю с полки чудом уцелевший в блокаде, ставший ныне библиографической редкостью стенографический отчет Первого съезда и, читая, вернее, наново перечитывая многостраничный доклад, нахожу там и строки из «Высокой болезни», запечатлевшие образ Ленина и прочитанные на съезде Бухариным. Эти строки знаю наизусть и считаю, что это один из наиболее сильных портретов Владимира Ильича, созданных русской поэзией.

Однако замечаю, перечитывая: Н. И. Бухарин, процитировав строки о Ленине, опустил не случайно финал поэмы. А между тем именно финал исполнен силой предвидения…

. . . . . .
Он был — как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Тогда его увидев въяве,
Я думал, думал без конца
Об авторстве его и праве
Дерзать от первого лица.
Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.

Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Дата написания поэмы — 1923, 1928.

Доклад Н. И. Бухарина завершался словами: «Я кончаю свой доклад лозунгом: нужно дерзать, товарищи!» Как свидетельствует стенограмма, последовали «бурные аплодисменты всего зала, переходящие в овацию. Крики «ура». Весь зал встает. Заседание закрывается».

Стенограммы съездов обычно не переиздаются.

Думается, эту стенограмму можно и должно переиздать — сейчас, в условиях гласности, это не только возможно, но и насущно необходимо. Не говоря уже о содержательности, важности и красоте многих выступлений на его двадцати шести — двадцати шести! — заседаниях, там, увы, немало фамилий крупных писателей, имена которых долгие годы не разрешалось даже упоминать.

..Съезд начался 17 августа 1934 года появлением на трибуне открывшего его Алексея Максимовича Горького, встреченного единодушной овацией. И закончился вечером 1 сентября 1934 года заключительным словом Алексея Максимовича и пением всем залом «Интернационала».

Двадцать шесть заседаний.

Это было время больших надежд, светлых упований…

И в Колонном зале. И за его стенами. И во всей стране.

А 1 декабря того же 1934 года в Ленинграде, в Смольном, был убит выстрелом из револьвера Сергей Миронович Киров.

И начался новый, тяжкий отсчет нашей жизни.

Когда поднявшаяся после этого зловещего, потрясшего страну выстрела темная и мутная волна террора, набирая адскую силу и адскую скорость с каждым днем, неделей, месяцем, годом, стала неслыханным бедствием, память о котором и поныне вызывает в сердце неутихающую горечь, непреходящую боль.

ЛЕТЕЛА БЕССОННАЯ НОЧЬ.

Длинная, бесконечная.

Я лежал на верхней полке, ворочался, поправлял подушку, закрывал глаза, снова открывал, сон не шел, я выходил в коридор покурить, возвращался, и снова начиналась она, бессонница, и мысли, мысли, мысли, «как черные мухи»…

Как могло случиться?

Кто? Зачем? По чьему чудовищному умыслу? Где была охрана?

Нет, не уснуть.

Немало случалось у меня бессонных ночей на жизненном неровном пути. А такой не упомню.

Да разве только я?

Несся в ночи, бешено громыхая на стыках рельсов, траурный поезд.

В тряских вагонах тоже не спали. Сидели, выходили в коридор, а то и дымили в купе, переговаривались тихо. А больше — молчали.

Поезд шел в Москву. Его пассажиры — ленинградцы. Выборные фабрик и заводов.

Ехали в Москву.

Хоронить Кирова.

На Красной площади. Хоронить рядом с красногвардейцами и солдатами, павшими в боях за Октябрьскую революцию.

Хоронить рядом с Дзержинским и Свердловым.

Рядом с Лениным.

Мне выпало быть специальным корреспондентом ленинградской «Красной вечерней газеты», сопровождающим делегацию питерских пролетариев.

Я знал Кирова. Видел его и слышал — не раз. Даже познакомился.

Это было вскоре после того, как Киров переехал в Ленинград. На районной партийной конференции за Нарвской заставой. Тогдашний редактор «Ленинградской правды» М. Рафаил, впоследствии арестованный как враг народа и погибший в лагерях, в перерыве подвел меня к Кирову.

— Сергей Миронович, вот молодой товарищ, по поводу которого вы мне звонили по вертушке. «Виновники Октября», помните? Александр Штейн.

— Аа-а, — сказал Киров. И протянул руку. Рука твердая, сильная. — Понравилось. И название — неожиданное. «Виновники Октября».

Прозвучал звонок — кончился перерыв.

Думаю, думаю, не сплю.

Киров ходил часто вовсе без охраны, иногда видел я следовавшего за ним чуть в отдалении немолодого рабочего, как мне сказали, Киров знал его еще по революционному подполью.

Любил ходить пешком, делая большие концы от своего

Каменноостровского, где он жил, неподалеку от нынешней студии «Ленфильм», в доме 26—28, где жили многие, как говорили тогда, «ответработники», там у него квартира.

Каменноостровский, нынешний Кировский проспект.

Очень любил театр, бывал на спектаклях бывшей Мариинки, нынешнего Театра оперы и балета имени Кирова, и в бывшей Александринке, и на Фонтанке в Большом драматическом. Предпочитал сидеть в партере, в правительственной ложе бывал, если приводил с собой гостей, — так, я видел его в ложе вместе с Серго Орджоникидзе в Александринском театре на шумевшем тогда спектакле «Ярость» Е. Яновского. Был с Горьким на «Страхе» А. Афиногенова.

…Лежу ворочаюсь, вспоминаю.

Забудешь ли день, когда случилось?

Первого декабря у меня был билет на собрание партийного актива Ленинграда в бывшем Таврическом дворце.

Сердито звеня, подходили и подходили к дворцу переполненные трамваи — все торопились: с докладом выступает Киров, а Киров уважал точность, сам был в этом педантичен до одной минуты и не любил, если входили и усаживались, когда доклад уже начался.

Таврический дворец, тогда он именовался «Дворец Урицкого», был набит до отказа. Как всегда, если ждали речи Кирова. И в этот раз я с трудом отыскал на хорах свободное место.

Пришла минута доклада. Киров не появлялся. Другая минута, третья. Десятая. Пора, пора начинать. Ждали терпеливо, однако несколько недоумевая. Еще прошло время. В зале зашумели. Тотчас же смолкли — вышел человек. Не Киров. И тут же воцарилась тревожная тишина. Каким-то странным голосом вышедший сообщил: собрание актива отменяется.

И ушел, торопясь.

Никто ничего не понимал. Выходили в молчании, растерянные, садились в трамваи, шли пешком.

Мне удалось вскочить, вместе с товарищем по редакции, на подножку уходящего трамвая. Добрались до Фонтанки, где помещалась тогда «Красная вечерняя газета». И там узнали. В Кирова — стреляли.

Мой товарищ, услышав это, стал дрожащей рукой наливать себе воду из графина, графин выскользнул, полетел и разбился вдребезги.

А ведь совсем-совсем недавно, ну буквально на днях, я столкнулся с Кировым невзначай, я пришел по редакционным делам в Смольный, и навстречу шел по коридору Сергей

Миронович, приветливо кивнув мне на ходу, бросил: «Виновники Октября!» — и пошел к себе в кабинет.

Пуля Николаева сразила Кирова именно там, в коридоре Смольного…

Мчится в Москву траурный поезд.

Ворочаюсь на своей верхней полке.

И снизу кто-то, тоже бодрствуя, закуривает новую папироску.

Еще, кажется, вчера был Семнадцатый съезд партии. Он длился с 26 по 10 февраля этого года.

Кажется, еще вчера читал в газете его, кировское, выступление.

Навеянное реально осязаемым тогда улучшением народной жизни.

Завершившееся овациями, которые могли сравниться разве что с овациями по адресу Сталина…

Выступал признанный любимец партии.

> «Если сказать просто, по-человечески, — так хочется жить и жить».

Кто стрелял? Зачем? По чьему умыслу?

После этой ставшей тогда знаменитой речи, радостной, живой, человеческой, жить оставалось ему недолго…

Как и подавляющему большинству участников этого съезда, названному тогда словами, звучащими сегодня трагедийно, — «Съезд победителей».

Пройдет немного времени, и подавляющее большинство делегатов этого съезда победителей будут объявлены врагами народа, расстреляны, погибнут в тюрьмах и лагерях…

Их реабилитируют посмертно — после Двадцатого съезда.

А иных — и еще позже.

На траурном митинге памяти Кирова на Красной площади был и Борис Ильич, спускался с ленинградцами после митинга в Мавзолей, он мне впоследствии рассказывал об этом, но тогда, в 1934 году, я и не подозревал, что имя этого ученого, иногда мелькавшее на страницах газет, станет мне в будущем настолько близким…

Воробьев и Збарский, живя в разных городах, не расставались друг с другом, делились каждой крупинкой наблюдений.

Они вдвоем взялись за дело, не имеющее аналогов в истории…

Вдвоем делили взятую на свои плечи ответственность.

Ведь вопрос — надолго ли удастся продлить процесс сохранения — ставился перед ними и ими самими неоднократно.

Была ли уверенность у обоих, что — надолго?

Такой уверенности не было ни у того, ни у другого. И не могло быть.

Уверенности не было, но страстное желание не оставляло ни днем, ни ночью. Лаборатория Владимира Петровича и Бориса Ильича ни на минуту не теряла этой надежды.

Неустанная и непрерывная исследовательская деятельность обоих ученых дала пока еще первый результат — им был уже накопленный драгоценный опыт.

«Прошло 3 года… 5 лет… Уверенность в полном успехе росла с каждым годом, с каждым месяцем».

СТРАШНЫЙ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ. В доме на набережной, где поселился с семьей Борис Ильич, жили по преимуществу крупные деятели государства, были среди них и народные комиссары, и их заместители, и военачальники…

Обыски и аресты шли по ночам. Как правило, кончались глубокой ночью. Дежурные спрашивали вахтеров, где можно оставить детей пяти, семи, десяти лет до утра, утром их надлежало отправить в детдом. Вахтеры не раз называли одну и ту же квартиру — Збарских. Евгения Борисовна укладывала детей спать, поила, кормила и зачастую, когда они засыпали, сидела с ними до утра, утром с точностью выполнялось спецуказание — машина увозила детей в детдом.

А Борис Ильич, живя в этой гнетущей атмосфере, продолжал работать. Подъезды пустели. Пустели целые этажи. Брали людей… Как-то часов в шесть вечера сидели пили чай. Телефонный звонок. За Борисом Ильичом высылают машину, не ту, в которой он обычно ездил, — с Лубянки.

Положил трубку, встал, развел руками, улыбаясь, сказал:

— Ну что ж, на всякий случай попрощаться? Пошутил, пошутил. Женя, дай на всякий случай еще одну пару очков…

Спустился вниз, сел в машину. Ехать было недалеко.

Его вызвал Ежов, лично.

Борис Ильич вошел в кабинет, увидел человека, едва возвышавшегося над столом, так он был невелик ростом. Ежов привстал, жестом пригласил сесть, нажал кнопку — вошел помощник.

— Принесите дело Збарского, — приказал Ежов, помощник, кивнув, исчез.

«Дело», — подумал Борис Ильич. Ежов молчал и только смотрел на него сумрачно, внимательно и непроницаемо.

— Вот мы наконец и познакомились, — сказал Збарский, чтобы нарушить страшноватое молчание. Ежов молча кивнул. — Пора, ведь объект находится в вашем ведении. — Ежов так же молча кивнул.

Вернулся помощник, с довольно толстой папкой.

— Показания Ягоды, — приказал Ежов. Страница была открыта. — Можете идти, — сказал Ежов.

Помощник ушел.

— Читайте, — сказал Ежов.

Збарский вынул очки из футляра, протер, взял папку, стал читать. Прочел: «Мною было поручено профессору Збарскому, биохимику, отравление Николая Ивановича Ежова». Остановился, взглянул на Ежова, тот смотрел на него в упор. Збарский продолжал читать. «С этой целью была достигнута договоренность с персоналом, обслуживающим кабинет, — ночью опрыскивать его раствором дезинфицирующего препарата, в который входит ртуть, рекомендовалось опрыскивать специальным пульверизатором портьеры».

Збарский улыбнулся, протер очки.

— Кто же так делает? Это кустарщина.

Ежов посмотрел на него с нескрываемым изумлением. Збарский продолжал читать вслух:

— «До утра держать закрытыми окна и двери. Как известно, ртуть запаха не дает». Действительно, ртуть не дает запаха, — прокомментировал он, снова улыбнувшись. — Из всего, что здесь написано, вот это — правда. Ртуть запаха не дает… — Перелистнул страницу, снова начал читать. Дочитав, положил дело на стол. — Все, что здесь написано, — глупейший и неграмотный вздор. Так не травят.

— А как травят? — спросил Ежов.

— Не знаю, мне, к счастью, пока травить никого не приходилось.

— Ртуть — ядовита? — спросил Ежов.

Збарский кивнул.

— Ртуть — химический элемент второй группы периодической системы Менделеева, — сказал он спокойно, словно бы читая лекцию. — Ртуть, как и многие ее соединения, ядовита. Пары ртути излучают, при высокой температуре и при электрическом разряде, голубовато-зеленый свет. Это знает каждый школьник. Как и то, что ртуть обладает антисептическими свойствами, она применяется при дезинфекции. При бальзамировании. При бальзамировании, —

повторил он. — Вот, наверно, откуда возникла идея этой стряпни. Доказывать обратное — ниже достоинства ученого.

Збарский протер очки и положил их в футляр.

Ежов смотрел на него по-прежнему внимательно.

— А какие признаки при отравлении ртутью?

— Похудание, общее недомогание, поражение почек, раздражительность. — Помолчав, добавил: — В особо тяжелых случаях — психозы. — И посмотрел на Ежова. — Больше ничего не нужно читать?

— Ничего, — сказал Ежов. — А можно ли определить — отравлен человек ртутью или нет?

— Можно, — сказал Збарский. — Для этого надо, примерно за недели две, проделать анализ крови, мочи в специальной лаборатории.

— Вы ею располагаете?

— Да, она в полном моем распоряжении.

— Когда можно начать?

— Когда вам удобно. — Посмотрел на папку. Улыбнулся. — Нет, так это не делается. Это кустарщина. Вздор.

Ежов нажал кнопку. Вошел помощник. Ежов протянул ему папку.

— Возьмите дело Збарского. И отправьте Бориса Ильича домой. — Повернулся к Збарскому: — Вам ничего не нужно?

— Нет, мне ничего не нужно, — сказал Борис Ильич. — Впрочем, разрешите позвонить домой. — Ежов вежливо пододвинул ему один из телефонов. — Хочу, чтобы мои домашние узнали, что я еду домой, на пятнадцать минут раньше, чем я окажусь дома.

— Я вас вполне понимаю, — сказал Ежов.

Ежов за свои «заслуги» в борьбе с «врагами народа» был награжден орденом Ленина, и город Сулимов в его честь переименовали в город Ежово-Черкес.

Вот так.

В 1937 году умер академик Владимир Петрович Воробьев. Борис Ильич воздал ему должное. В своей книге он пишет: «Это была тяжелая потеря для науки…»; «Советский народ никогда не забудет роли выдающегося ученого в деле сохранения тела Ильича и с благодарностью будет вспоминать его имя».

Умер Воробьев, остались ученики обоих ученых. В качестве ассистентов в разное время были привлечены профессор М. Барон, профессор Д. Воропаев, доцент И. Збарский, профессор Б. Лаврентьев, профессор С. Мардашев, профессор

Р. Синельников, профессор А. Шабанов.

И, проводив в последний путь Владимира Петровича, Борис Ильич с волнением думал о том, как мудро и дальновидно поступили и он, Воробьев, и он, Збарский, воспитав за время работы в лаборатории Мавзолея талантливых и умных помощников, целую группу молодых ученых, которые отныне еще тесней приблизятся к нему. Они всегда были с ним. И он мог на них положиться. И они дали ему возможность заниматься другими научными проблемами, что он и делал со свойственной ему энергией, несмотря ни на что, ни на каких ежовых, настоящих, прошлых и будущих…

Четверть века отдал он воспитанию медицинских кадров. Семь лет, с 1945 до 1952 года, то есть до ночи ареста, руководил лабораторией биохимии рака Академии медицинских наук СССР.

Воробьев умер в черный год разгула ежовского террора. Год, окрещенный народом «ежовщиной», потом продолженный «бериевщиной», а точней сказать, террором Сталина.

Вскоре после этих трагических дней, в 1938 году, сам Борис Ильич заболел серьезно, тяжко, ему удалили почку, он лежал в больнице, а рядом с ним, бессменно, Евгения Борисовна.

Вот и проявился с новой, неожиданной стороны ее характер. Оказывается, как и всегда в этой жизни, все неоднозначно. Выяснилось в самый пик болезни, что она достойный его и ему спутник, что он, оказывается, ей дорог и что она будет за него и за его существование на земле бороться до конца, и днем, и ночью, ей поставили рядом с его кроватью раскладной матрац, и все ночи она была неотлучна. Между тем болезнь становилась все более угрожающей, температура около сорока, он все чаще впадал в забытье…

Из органов безопасности, которым была поручена охрана жизни Збарского и в ведении которых был Мавзолей с первого же года его существования, в больницу приехали, очевидно, по приказанию свыше, может быть, самого Сталина, даже наверняка, люди с щекотливой миссией. Не сразу, обиняком, между прочим, спросить: есть ли около профессора ученики, способные на время болезни, они подчеркнули, только на время болезни, в случае, если она, болезнь, затянется, есть ли ученики, которым можно поручить продолжать его дело?

Спрашивали они его, улучив момент, когда Евгения Борисовна вышла из палаты, но она слышала все — и их вопрос шепотом, и его шепотом ответ. У него не было сил подняться с подушки, но он медленно, очень раздельно ответил: да, есть.

Есть, он все предвидел.

К счастью, дело пошло на поправку. Его выходили врачи, его выходила жена, Евгения Борисовна. И он оценил по достоинству так проявившийся в этой малоутешительной истории ее упорный, упрямый, сильный характер. В опасные минуты такие люди не подводят.

И это подтвердилось спустя немало лет в ночь ее ареста.

Евгения Борисовна не стеснялась в выражениях, когда вспоминала о тайном визите работников безопасности, полагая, что они не имели нравственного права спрашивать Збарского, тем самым как бы предупреждая, что возможен его близкий уход из жизни. Однако Збарский не осуждал их, так как его Дело было делом не только его, но и Государственным делом.

Но растроган самим фактом ее реакции на тайный визит — стало быть, она предана ему, и предана по-настоящему. Улыбнулся, сказал тихонько: «А ну-ка, Женя, давай-ка еще поживем…»

И потерял сознание.

Он выжил.

Это что-то решило в их отношениях.

Впрочем, новый неожиданный поворот не помешал ей, вернувшись из больницы домой, вернуть и свое обычное выражение лица, скучно бродить по комнатам и с тоскою поглядывать в окно. Хотя из окна открывался вид, захватывающий своей красотой — Кремль, колокольня Ивана Великого, изгиб Москвы-реки, гости, приходившие к ним, неизменно восторгались пейзажем, — она кивала им с полным равнодушием.

Такою уж она была, и с этим ничего нельзя было поделать.

В конце, помнится, этого года мы с Юрием Павловичем Германом отправились в Москву по своим литературным делам. Нас обоих уже коснулся своим совиным крылом этот год: Германа обвинили публично в молодежной газете «Смена», что он покровительствовал «ныне расстрелянному террористу, одному из руководителей РАППа Ивану Макарьеву», более того, посвятил ему, Макарьеву, свой роман «Наши знакомые». Я, ответственный редактор журнала «Искусство и жизнь», был обвинен в том, что журнал «не вел борьбы с врагами народа», и редакционная заметка об этом в разделе «Из последней почты», уже не в молодежной газете, а в самой «Ленинградской правде», требовала «присмотреться к политической физиономии журнала «Искусство и жизнь» и его редактора А. Штейна»…

Формулировки для того времени были более чем неприятные.

Так что, думаю, можно представить наше с Германом тогдашнее умонастроение.

(Замечу: «расстрелянный террорист Иван Макарьев» потом, к счастью, оказался живым и возвратившимся в Москву после Двадцатого съезда, жил некоторое время на даче у Юрия Павловича Германа, помню и его выступление на партийном собрании писателей в Центральном Доме литераторов, где он рассказывал, чем был для него тридцать седьмой год…)

Вечером в вестибюле гостиницы «Метрополь», где мы с Юрием Павловичем остановились, столкнулись с белорусским писателем, мы его знали, познакомились недавно в Колонном зале Дома союзов на Первом съезде писателей. Он бросился к нам, будучи явно необычайно взволнованным, позвал зайти к нему в номер сейчас же.

Рассказ был короток. Но мы — онемели.

Только что закончился Пленум ЦК.

На этом пленуме делал доклад А. Жданов.

Он говорил «об избиении партийных кадров».

Сталин сидел в президиуме.

После ждановского доклада он поднялся, неторопливой походкой прошел к сидящему в зале Ежову, остановился, вгляделся в его застывшее, посеревшее лицо и показал на него указательным пальцем:

— Вот человек, который избивал партийные кадры.

Так сказал Сталин.

И Ежов исчез. Вскоре. Навсегда.

И мы с Германом слушали затаив дыхание, и облегченно вздыхали, и были счастливы, что наконец-то дошел до Сталина весь ужас и кошмар тридцать седьмого года.

Боже, как мы были счастливы тогда! Значит, правда есть? Значит, Сталин не знал? Значит, можно объяснить необъяснимое?

Как же мы были простодушны! Как наивны! Как слепы!

Да разве только мы?

А командармы, которые были убиты не Ежовым, а уже Берией? А легендарные военачальники, прославленные герои гражданской войны, — перелистайте страницы Военной энциклопедии, страницы Энциклопедии гражданской войны, вышедшие в совсем недавние, в брежневские, времена, — ведь это мартиролог, причем стыдливый, в котором робко обозначены даты рождения и даты, одинаковые даты смерти — 1937—1939, — и ни слова о том, что они явились жертвами казней, они, чьим талантом, смелости, убежденности, преданности безграничной обязано было наше государство.

Мартиролог. Слово греческого происхождения от слов — свидетель, мученик. Это слово имеет два значения: сборник религиозных повествований о христианских мучениках, вид

духовной литературы, распространенной в средние века, и — перечень пережитых кем-либо страданий, преследований…

Как это слово подходит к мученикам двадцатого века, жертвам патологической злобы, патологической зависти к талантам, к духовной самостоятельности, к чужой славе.

Перечитайте сегодня, с высоты прожитого, испытанного, пережитого, переосмысленного краткий курс истории партии, одобренный Сталиным, сданный в набор 8 октября 1938 года, подписанный к печати 14—19 октября 1938 года в издательстве «Правда» тиражом полтора миллиона экземпляров…

Вот что написано про тех, кого Ленин считал своими верными соратниками, при всех их частных ошибках и заблуждениях, про подпольщиков, большевиков, отбывавших каторги и ссылки, с кем был Ленин и до Октября, и в дни Октябрьского штурма, и все годы Советской власти.

Вслушайтесь в интонацию этих формул, которые и тогда звучали страшно, и не хотелось верить, и не могли не верить, потому что нельзя было не верить самой партии, и действовали магический гипноз и ослеплявшие людей автоматические догматы послушного мышления.

Нечеловеческая ярость звучит в каждой формулировке, в каждой фразе, в каждой запятой:

> «Эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином Советской страны является советский народ, а господа рыковы, бухарины, зиновьевы, каменевы являются лишь временно состоящими на службе у государства, которое в любую минуту может выкинуть их из своих канцелярий как ничтожный хлам.
>
> Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит Советской власти шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа.
>
> Советский суд приговорил бухаринско-троцкистеких извергов к расстрелу.
>
> НКВД привел приговор в исполнение».

И прокурор Вышинский, наловчившийся фальсификатор, сфабриковавший с холопьей готовностью страшные обвинения, заключал свою речь перед приговором над Бухариным, Рыковым и другими большевиками такими словами:

> «Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять, как поганых псов!»

До этого процесса уже были два аналогичных сфабрикованных и фальсифицированных процесса «троцкистско-зиновьевского террористического центра» и «антисоветского троцкистского центра», и Вышинский проводил их на казнь, перед расстрелом, таким же извержением подлой брани, которую сегодня просто невозможно читать…

И невольно думаешь, каким гениальным предвидением было ленинское завещание, требующее снять т а к о г о генсека, обладающего необъятной властью, снять Сталина со своего поста.

Какими же потоками крови чистых и благородных людей обернулось то, что Тринадцатый съезд не внял ленинскому призыву.

И раньше всего обернулось для самих делегатов самого Тринадцатого съезда.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА. В июле сброшены на Москву первые бомбы.

Июльской душной ночью позвонили.

— Борис Ильич, за вами послана машина. Вас ждут в Кремле. Пожалуйста, выходите к подъезду.

Усмехаясь, вспомнил, спускаясь вниз, о звонке и машине, которая привезла его к Ежову на Лубянку.

Совсем недавно это было… Года четыре, не больше…

А ведь аресты прекратились, как только началась война.

Почему-то вспомнилось июльское обращение долго-долго молчавшего в начале войны Сталина:

> «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

Впервые, кажется, обращался он к народу с такими задушевными словами…

У въезда в Кремль часовой отдал честь, машина подъехала к правительственному зданию.

В кабинете, куда его проводили, сидели Молотов, Каганович, Берия, Микоян. Помощники с блокнотами и карандашами.

Микоян пригласил Збарского сесть. Сообщил о только что принятом решении — в связи с возможными налетами фашистской авиации на Москву тело Владимира Ильича эвакуируется.

Решение окончательное, обсуждению не подлежит. Отъезд из Москвы — безотлагательный. Новым местопребыванием избрана Тюмень.

Молотов пояснил:

— Почему Тюмень? Предложение Сталина. Далекий тыловой

город. Связан неплохо с Москвой. Промышленных и военных объектов нет. Лететь фашистской авиации далеко. — Повторил: — Тюмень.

Збарский слушал, потрясенный.

Понимают ли они, о чем идет речь? Понимают ли, что это такое? С точки зрения науки? Ведь это движение, это климат. Какая будет реакция? А вибрация на стыках рельсов? Ринуться в неизвестность — есть ли на это право у него? Есть ли право на такой эксперимент, не предвиденный ни им, ни покойным Воробьевым, эксперимент с непредсказуемой судьбой?

Молотов негромко добавил:

— Все хранится в полном секрете, предупредите ваших сотрудников и их семьи, которые выедут с вами. Никакой информации. Никому. Нигде. Начальник вашего поезда — полковник Лукин.

Сидевший поодаль военный встал, поклонился. Збарский, по-прежнему потрясенный, механически кивнул.

— В Москве, у закамуфлированного по-прежнему Мавзолея, остается пост номер один, с постоянной сменой караула и всем церемониалом. С вами в поезд садится другой пост номер один, он будет нести в Тюмени круглосуточную службу со всем церемониалом, как и здесь, в Москве. Доступ к Владимиру Ильичу будет разрешен только вашим сотрудникам и сопровождающим вас лицам, для остальных он будет закрыт. Тюмень уже предупреждена — траурным залом будет актовый зал бывшего реального училища. С партийными и советскими тюменскими организациями все договорено. Кажется, все.

Микоян спросил:

— Что вам требуется? — Повернулся к помощникам: — Записывайте. Слушаем вас, Борис Ильич. Что нужно?

Помедлив, но-прежнему оглушенный, Збарский сказал:

— Нужен гроб.

— Так. Размер?

Снова помедлив, Збарский сказал:

— Мы одного роста.

— Смерьте размер, — приказал Микоян одному из помощников. — Дальше.

— Оборудовать вагон, в котором будет находиться Ленин, установками для обеспечения максимального микроклимата.

— Записывайте. Дальше.

— Должны быть специальные амортизаторы. Чтобы вредные воздействия толчков на стыках рельсов и естественной вибрации вагона были бы сведены к минимуму.

Помощники записывали.

— Еще?

— Обеспечить остановку поезда по первому необходимому моему требованию.

Молотов молча посмотрел в сторону Лукина. Полковник встал.

— Есть.

Збарский спросил:

— Сколько времени на сборы? На выполнение моих просьб? На совещание сотрудников?

Микоян посмотрел на Молотова. Молотов сказал:

— Сутки.

— Успею, — сказал Збарский.

— Мы — тоже. И все, что просите, — будет. — Молотов встал, протянул руку: — Доброго пути, Борис Ильич.

— Спасибо.

Все члены Политбюро попрощались с ним. Он ушел с одним страстным желанием — быть во всеоружии в предстоящем ему великом испытании.

3 июля 1941 года поезд специального назначения, не зафиксированный ни одним железнодорожным расписанием, состоящий из паровоза и нескольких вагонов, в одном из которых покоился Ленин, покинул тревожную военную Москву и отправился в далекий путь, навстречу идущим на фронт из уральских и сибирских просторов бесконечным воинским эшелонам.

Сотрудники и семьи выехали тем же поездом…

ПОЛКОВНИК ЛУКИН неотступно находился при Борисе Ильиче. Следил за его состоянием, душевным и физическим.

Збарский не смыкал глаз, ночь была бессонная.

Для того чтобы войти в вагон, где покоился Ленин, нужно обязательно остановить состав — вход был только снаружи. Вагон надежно оборудован специальными установками для сохранения оптимального микроклимата. Каждый толчок на стыках рельсов отражался на лице Бориса Ильича. Впервые, через шесть часов после выезда, он согласился на предложение Лукина остановить поезд.

Дали команду. Поезд замер на глухом полустанке. Борис Ильич вышел на перрон и вошел в ленинский вагон.

Проверив действие специальных амортизаторов и установок для нужного микроклимата и убедившись, что ничего не нарушено и все благополучно, он благодарно взглянул на Лукина и, вынув из бокового кармана документ, улыбаясь, сказал:

— Пропуск действителен круглые сутки.

Поезд отправился по назначению.

Таких остановок за всю дорогу было три или четыре.

Тюмень встретила понятным волнением, беспокойством, со всем радушием.

Повезли смотреть фундаментальное здание дореволюционной постройки, бывшее реальное училище. Борис Ильич и сотрудники тщательно обследовали помещения, предназначенные для лаборатории, осмотрели бывший актовый зал.

Решено было — все сотрудники с семьями будут жить здесь же, в училище.

Борис Ильич поселился с семьей на втором этаже.

Через двенадцать часов пост номер один занял свою вахту. Так же, как и в Москве, менялся почетный караул. Только весь церемониал проходил в стенах училища, улица и город про это не знали.

В свободное время все приехавшие сотрудники и ученые начали работать в свободное от лаборатории время каждый по своему профилю, жены-врачи пошли в городскую больницу, в госпитали, осенью сам Борис Ильич неожиданно принял решение — преподавать математику в школе, где уже учился его сын Феликс. Стал преподавать, делал это, как всегда, увлеченно, завоевал уважение и симпатии учащихся, и школьники ходили на его уроки, совершенно не представляя, кто и откуда взялся этот человек, учитель и учитель, больше они ничего об этом не ведали.

Здесь, в Тюмени, Евгения Борисовна родила еще одного сына, Виктора.

Борису Ильичу было пятьдесят семь лет, Евгении Борисовне — сорок два, ровесница века. Поздний ребенок, и поэтому с ним неустанно возились, очень за него боялись, хотя он развивался совершенно нормально.

Феликс, которого в школе, а затем и дома стали звать Левой, прекрасно рисовал, прославился сначала на городской выставке в Тюмени, а затем, в числе других, и его работа была послана в Москву на всесоюзную выставку, и, к радости родителей и школы, пришел из Москвы диплом с присвоением первой премии за школьный рисунок мальчика из Тюмени по фамилии Збарский.

Вечерами все собирались в одной из пустых аудиторий слушать сводки Информбюро, все сотрудники, все жены, курсанты из состава почетного караула.

Расходились молча, с печалью и надеждой…

Через год Борис Ильич был вызван для доклада в Москву.

ЖАРКИМ И ГОРЬКИМ ИЮЛЬСКИМ ЛЕТОМ СОРОК ВТОРОГО ГОДА я был вызван в Москву для вручения мне ордена Красной Звезды. Церемония происходила в Кремле, вручал ордена сам М. И. Калинин, и можно представить радостное волнение, с каким я сел в «Дуглас», перелетавший через линию фронта. К тому же не мог подавить суетного тщеславия, что оказался в числе первых ленинградских литераторов, удостоенных пока, в первый год войны, нечастой воинской награды.

В Москве меня ждало еще одно приятное обстоятельство — генерал П. И. Мусьяков, редактор газеты «Красный Флот», в целях поощрения «блокадного корреспондента» предложил, пока я буду в Москве «отписываться» (за мною были два «подвала» о воинах Балтики на сухопутье), вызвать в столицу на несколько дней из эвакуации и мою жену: она вместе с шестилетней дочерью Татьяной была эвакуирована в Пермь с эшелоном ленинградских детей и, будучи по профессии художником, работала по специальности в газете Морского авиационно-технического училища, сокращенно МАТУ. Естественно, мы не виделись с начала войны…

Благополучно приземлился в Москве, где ждал еще один сюрприз. Из Полярного, с действующего Северного Флота был срочно вызван в Москву, в редакцию газеты «Красный Флот», Юрий Павлович Герман.

Мы очень близко дружили с ним, война нас разлучила…

Нам помогли снять номер в гостинице, и мы тут же, памятуя о нашей с ним переписке по военно-полевой почте, придумали для «Красного Флота» переписку двух летчиков, ленинградского и североморского, мы знали хорошо: я — ленинградских, он — североморских, — и написали рассказ, веселый, забавный, именно потому, что время было вовсе не веселое. Рассказ был напечатан сразу же в «Красном Флоте».

Приехала жена. Вернувшись с нею с вокзала, столкнулся в вестибюле гостиницы с другим ее постояльцем, очень известным тогда автором пьесы «Интервенция» Львом Славиным, моим недавним соседом по номеру в другой гостинице, ленинградской «Астории», мы познакомились с ним, москвичом, там, в блокадном Ленинграде, в кульминацию боев за город Ленина. Он был корреспондентом «Красной звезды» вместе с жившим тут же, в «Астории», Михаилом Светловым. Мы обрадовались новому, теперь уже московскому, свиданию. Лев Славин тоже приехал «отписаться», чтобы затем вернуться в войска — уже шло тяжелое оборонительное сражение за Кавказ.

Был со Славиным и другой корреспондент «Красной звезды», только что вернувшийся с фронта Евгений Габрилович, будущий

крупнейший в кинематографе драматург, отличный прозаик, будущий кавалер всех и всяческих орденов и званий, — выглядел он тогда усталым и печальным.

В номере, куда все пришли, было накурено, жарко, душно, окна настежь открыты, и все равно душно, я щедро угощал всех какими-то роскошными, невиданными папиросами, кажется, это были «Герцеговина Флор», а для нас высшим наслаждением было подымить «Беломорканалом», очень смеялись, когда Юрий Павлович рассказывал гостям о том, как я получил где-то на улице Горького талон на ящик папирос, во всяком случае, целую коробку, мне их отпустили в знак уважения к человеку из Ленинграда, собиравшемуся снова в Ленинград… Когда мы с Германом шли по улице Горького, встретил нас приехавший из Алма-Аты ленинградский режиссер, милый, застенчивый и ошалевший от моего табачного богатства, которое я волок, и спросил, каким образом мне такое удалось. Юрий Павлович заметил:

— Это очень просто, миленький, для этого надо только, чтобы и вы полетели в Ленинград, и вам тогда тоже дадут сразу роскошные папиросы. Только надо, чтобы вы полетели именно туда…

Все смеялись, один Габрилович сидел с отсутствующим взглядом, и, когда я спросил, почему он так грустен, Габрилович наклонился ко мне и тихонько сказал:

— Видите ли, Шура, какое дело. От меня вчера ушла жена. Она здесь близко, живет в гостинице «Москва». Но все мои беды меркнут перед тем, что я видел сейчас на юге…

Если бы нам знать тогда с Габриловичем, что следующая наша встреча состоится уже в центре поверженного Берлина, в военной комендатуре Митте-района, в мае сорок пятого…

Да к тому же и жена к нему вернулась через две недели и прожила с ним долгую жизнь, до самой ее смерти…

Вошел официант с подносом и поставил, к всеобщему восторгу, несколько бутылок минеральной воды, всех мучила жажда. Официант открыл бутылку, будто невзначай бросил:

— Последний нарзан.

Все помрачнели.

Дорога на юг уже была перерезана, бои на Моздокском направлении, Минводы, Ессентуки, Кисловодск — в руках Гитлера. Директива его ставки, под секретным кодом «Эдельвейс», направленная на взятие Кавказа, пока осуществлялась.

Все стали прощаться.

Спустя несколько дней я получил свой орден из рук

Калинина. Как и всех награжденных, помощник Председателя Президиума Верховного Совета предупредил: не надо слишком сильно пожимать Калинину руку — он очень от этого устает.

Несколько дней мирной гостиничной жизни пролетели как чудесный сон наяву, я «отписался», теперь оставалось только решить две непростые в те времена проблемы — отправить жену к дочке обратно в Пермь и попасть на какой-нибудь военный самолет, летевший в Ленинград через линию фронта.

И сызнова выручил добрейший генерал Мусьяков. Оказия будет. И насчет меня он договорился с командованием воздушных сил ВМФ, а Людмиле Яковлевне получил броню на экспресс «Москва — Владивосток».

Поезд отправлялся с Ярославского вокзала.

Наступала пора расставания.

Мы, естественно, мало ли что, время военное, непредусмотренное, собрались загодя, предъявили билет, поставили чемодан в купе и вышли на перрон.

У вагона, подле проводника, стоял седой человек в хорошо сшитом и хорошо сидевшем на нем сером костюме, невысокий, моложавый, с ласковой усмешкой и живым любопытством наблюдавший за вокзальной суетой, в облике его было нечто неуловимое и, однако, очень уловимо интеллигентное; в выражении лица — отчетливая доброжелательность, которую всегда примечаешь среди других выражений — угрюмых, мрачных, злых, вельможных, надменных, унылых, обиженных, высокомерных и просто глупых…

Чуть поодаль, вроде бы тоже наблюдавший за пассажирским потоком, но неизменно следящий за человеком в сером костюме, стоял военный в чине не то майора, не то полковника, сейчас уж и не помню.

Общительный седой пассажир приметил нас с женою, о чем-то спросил. Завязалась беседа. Узнал, что я провожаю жену, а потом улечу в Ленинград.

— В Ленинград, — произнес он уважительно и грустно покачал головой. — Скоро? Ах, сразу же? — И неожиданно улыбнулся. — Жаль. А то могли бы здесь, в Москве, увидеть знаете кого? Черчилля. Да, да. Самого британского льва. Он будет тут и, наверное, не обойдет стороной вопрос об открытии второго фронта. Может быть, дождемся, наконец…

Я еще не успел подивиться его осведомленности и непринужденности, с какою он свободно оповещал нас, незнакомых, о столь важном государственном событии, очевидно, мы и, главное, моя военно-морская форма внушили ему доверие.

Козырнув, подошел к нему военный, до того стоявший в почтительном отдалении.

— Борис Ильич, пора садиться.

Как выяснилось потом, военный был личной охраной этого дотоле неведомого мне Бориса Ильича.

Распрощались. Поезд двинулся. Людмила Яковлевна, всплакнув, помахала платочком — ведь расставались неизвестно насколько… Да и все было неизвестно…

Уже в Ленинграде, спустя недели две, я получил от нее письмо.

Разумеется, то, что в нем было написано, ни в коем случае не могло быть пропущено военной цензурой. Его передал мне из рук в руки мой друг по блокаде Николай Гаврилович Жданов, покинувший Ленинград временно, по настоянию врачей, для лечения туберкулеза, и снова возвращавшийся в Ленинград, Коля Жданов, человек чистой души и благородных помыслов, писатель, прозаик, литературный критик и военный корреспондент. Его жена Ирина, уехавшая из Ленинграда с малолетним сыном, делила с другими писательскими женами и детьми все тяготы эвакуации…

Вот что было в письме — опускаю частные его подробности.

> «…Завтра летит в Ленинград Коля Жданов. Хочу наконец написать тебе длинное письмо. Танюша наша в деревне, не хочет уезжать, и сегодня мне передали, что она собирается увязаться за Мишкой Казаковым и идет учиться в сельскую школу, завтра я к ней еду и там разберусь. Так много всего, всяких событий накопилось за это время, столько и грустного и интересного, что просто пропадаю оттого, что самого главного, всепонимающего слушателя, нет… Я совершенно «зашлась» и влюбилась, как говорится, до «потери сознания» по дороге из Москвы — в человека, с которым мы познакомились на вокзале. Ты, наверное, тогда разглядел на лацкане его пиджака два ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Когда поезд тронулся, мы стояли рядом и смотрели на тебя из вагона. Он опять повторил: «Сейчас, в пять ноль-ноль, как я теперь научился говорить, Черчилль прилетает в Москву». Как сам понимаешь, после такой фразы мне трудно было заставить себя уйти, он предложил боржом и через полчаса сказал следующее. Он — московский профессор, живет в Сибири и едет в Тюмень, город, где находится сейчас

эвакуированное из Москвы тело Владимира Ильича Ленина. Профессор, который вместе с покойным сейчас академиком Воробьевым восемнадцать лет назад забальзамировал Ленина. Его фамилия Збарский, Борис Ильич. Тут мы официально познакомились и представились друг другу. Я рассказала, чья я жена, он понял, кто ты и кто я, и привстал, протянул мне руку. И начался потрясающий рассказ о том, как в июле сорок первого ему было приказано первый раз за все годы поднять наверх и вывезти в Сибирь тело Владимира Ильича. Рассказывал он с необыкновенным талантом, умом, и проговорили мы до десяти вечера. Поблагодарил меня как умную и очаровательную слушательницу. И обещал на следующий день рассказать, как возникла идея бальзамирования, как он приступил еще при Дзержинском к этой работе. Кроме всего прочего, он одно время, будучи биохимиком по профессии управлял в уральском имении вдовы Саввы Морозова хозяйством величиной в две Франции. Самое невероятное и фантастическое, что меня так потрясло и помогло нам подружиться, — то, что он друг и приятель, жил и учился, в одно время женился и провел часть своей молодости с А. И. Гавронским, моим Учителем, и сам понимаешь, в каком я была восторге, да и он не меньше. Я поила его чаем, хозяйничала у него в купе. Он мне рассказал добрую треть своей жизни. Он — коммунист, ездил с Литвиновым в Лигу Наций, у него три сына, старший работает с ним ассистентом по сохранению тела Ленина, что является основным делом его жизни. А младшему — три месяца. Старец, как видишь, потрясающий. Вот прилечу к тебе с нашими летчиками, я уже предпринимаю некоторые меры, и тогда все тебе расскажу. Я в него «влюблена», как когда-то, помнишь, на съемках «Человека в футляре», я была влюблена в Фаину Раневскую, и вся группа смеялась надо мной. Я страшно везучая, что встретила такого умного, очаровательного, молодого душой старого ученого. Он такой, каким Коля Черкасов играл профессора Полежаева. Я тоже произвела на него очень хорошее впечатление — я ведь могу, когда бываю в ударе и очень постараюсь».

Вот так, поначалу на перроне Ярославского вокзала,

произошло наше с Людмилой Яковлевной знакомство с Борисом Ильичом Збарским, потом уже в конце войны и со всей его семьей, знакомство, перешедшее в прочную, оставившую глубокий след в душе дружбу, оборвавшуюся временно в тяжелые годы по не зависящим ни от него, ни от меня страшным обстоятельствам…

Две строчки из его автобиографии, написанной уже в послевоенные годы:

> «В 1941 г. был командирован правительством для выполнения специального задания на все время Великой Отечественной войны».

21 июня 1987 года я поехал из Переделкина в Москву по делам и увидел на Манежной площади, около Исторического музея, конец тысячной очереди людей, молодых и пожилых, школьников и ветеранов…

— Завтра началась война, — неожиданно сказал шофер.

— Подумайте, — сказал я. — Совершенно забыл.

А забыл потому, что думал сейчас, глядя на эту очередь, об одном: «Ни один человек, стоящий в ней, не знает имя, отчество и фамилию Бориса Ильича Збарского…»

В СОРОК ТРЕТЬЕМ ГОДУ поздней осенью Борис Ильич приехал в Москву в недолгую командировку.

Приезд его совпал с возвращением из Соединенных Штатов, после трехмесячного путешествия по четырнадцати крупнейшим городам Америки, Соломона Михайловича Михоэлса, народного артиста СССР, выдающегося общественного деятеля, имя которого было всемирно известно.

После его страстных выступлений люди жертвовали многие сотни тысяч долларов на борьбу с фашизмом, русские эмигранты, приходившие на эти встречи, растроганные, очень плакали, дарили в Фонд победы фамильные драгоценности… В президиумах митингов бывали и великий Альберт Эйнштейн, и Поль Робсон, и Эптон Синклер, и Лион Фейхтвангер, и звезды Голливуда, всех не перечтешь.

Борис Ильич позвал к себе, в Дом на набережной, Михоэлса, еще не отряхнувшего дорожную пыль, своих друзей, знакомых, учеников, пришли и Михаил Шолохов, и Рубен Симонов, и Борис Пастернак — с женами, и Корней Чуковский…

Жаль, я не был на этой встрече, я был в Ленинграде и на Балтике, а потом жена рассказывала мне… Она вошла в столовую

с опозданием, увидела в центре стола Михоэлса, правая рука висела, подхваченная белой повязкой. Оказывается, в одном из городов Штатов, на площади, была сооружена импровизированная, наскоро сколоченная трибуна. Толпа так сгрудилась вокруг нее, что трибуна не выдержала, рухнула, у Михоэлса — перелом руки…

Борис Ильич, встречая мою жену, предупредил, улыбаясь:

— Я вас сейчас посажу между Пастернаком и Сперанским, вы должны мне помочь. Михоэлс рассказывает, и необыкновенно интересно, а они затеяли спор о поэзии и науке и, по правде говоря, всем мешают. Я вас посажу между ними, постарайтесь их отвлечь и утихомирить страсти.

«Я услышала низкие тона пастернаковского голоса и увидела академика Сперанского, с рюмкой в руках, в генеральской форме, продолжающего яростный спор. Борис Ильич подошел, раздвинул их кресла и втиснул стул для меня.

Спор действительно стих, я помешала им. Борис Ильич с благодарностью кивнул.

А Михоэлс рассказывал, рассказывал.

О том, как еще в пути, в Аккре, на берегу Атлантического океана, молодой лейтенант из Канзас-Сити расспрашивал его о Дмитрии Шостаковиче и тут же напел трагическую тему Седьмой симфонии, Ленинградской… И о том, как на Бродвее, на Пятой авеню, звучали мелодии «Полюшка-поля» и «Вечера на рейде», и как в Сан-Франциско собиравшие подарки для Красной Армии моряки просили у него, Михоэлса, слова песни В. П. Соловьева-Седого — они пели ее без слов, и как пели американцы украинского происхождения «Запрягайте, хлопцы, кони…».

Один из них, показав пальцем на небоскреб, сказал слова, звучащие актуально, увы, и поныне:

— Они еще не знают, что такое война… Они не понимают, что этот небоскреб иногда может оказаться ближе к бомбе, чем низенький домик на Урале. Как вы думаете?

Рассказы об Америке, о Чаплине, о Поле Робсоне…

Об американской песенке «Москва, Москва», которую исполнила десятилетняя девочка Энн из Филадельфии, — она застенчиво спросила Михоэлса, опустив глазки:

— Сколько стоит билет до Москвы?

О Максе Рейнгардте, крупном европейском режиссере, эмигрировавшем в Штаты и находившемся без работы…

О «Порги и Бесс» Гершвина, опере, партитуру которой Михоэлс привез домой, в Москву.

Несколько лет спустя в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко мы видели и слушали эту выдающуюся

оперу…

Михоэлса тогда уже не было на свете…

Принстон… Новая встреча с Эйнштейном. Вот его слова:

— Я очень стар, я старше своих лет (ему было лет шестьдесят пять). Я гораздо старше своего возраста. Я уже многое пережил и ничего особенного впереди не вижу. Я потерял часть своей семьи; я уже почти один остался. Мне ничего не стоит уйти из жизни. Но до одного хочется дожить — я хочу дожить до той минуты, когда русские первыми войдут в Берлин.

Борис Ильич торжествующе поглядывал на гостей — не зря он пригласил их сюда, в Дом на набережной… И призывал всех — не стесняться, задавать вопросы, время терпит, вся ночь впереди, и ему, Збарскому, тоже будет что рассказать, воротившись в далекую Тюмень…»

ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ МИТЕРЕВ, весьма известная фамилия в годы войны, — он был народным комиссаром, а потом министром здравоохранения СССР, вспоминает:

> «Зима 1944 года была для меня богата многими событиями. Остановлюсь на одном из самых памятных…»

Глубокой ночью, то ли в конце декабря сорок третьего, то ли в первых числах января сорок четвертого его вызвал к себе председатель Совета Народных Комиссаров В. М. Молотов. Обычно дела Наркомздрава СССР курировала один из заместителей Предсовнаркома, старая большевичка Р. С. Землячка. На сей раз вызывал Молотов, второй человек в государстве. Митерев понял речь идет о делах особой важности.

Поздоровавшись, Молотов сразу же перешел к сути дела. У него есть поручение — предложить Митереву возглавить правительственную комиссию, очень ответственную, подчеркнул Молотов. Дело в том, что профессор Б. И. Збарский просил провести осмотр саркофага и состояния сохранения. Центральный Комитет считает — просьбу Збарского надо поддержать, привлечь к этому делу крупнейших специалистов.

Митерев с тревогой смотрел на Предсовнаркома. Что случилось? Молотов заметил беспокойство наркома, пояснил:

— Дело в следующем, товарищ Митерев: исполняется двадцать лет со дня смерти Ленина. Требуется авторитетное заключение о возможности дальнейшего сохранения. Это — во-первых. А во-вторых, у профессора Збарского есть некоторые вопросы научного и медицинского порядка.

Г. А. Митерев в своих воспоминаниях комментирует этот свой

внезапный ночной визит, подчеркивая, что Б. И. Збарский, возглавляя лабораторию, отвечающую за сохранение в нетленном состоянии облика В. И. Ленина, имел право действовать через голову Наркомздрава СССР, обращаясь непосредственно в Центральный Комитет партии.

Так он поступил и на этот раз.

Митерев, подумав, стал называть Молотову имена возможных членов комиссии. Первым был Николай Нилович Бурденко. Его абсолютный авторитет незыблем для всех, включая Сталина. Вторым, по мнению Митерева, следовало бы включить крупнейшего патологоанатома, академика Алексея Ивановича Абрикосова, ведь именно он провел исключительно талантливую операцию первоначального бальзамирования, позволившего отодвинуть похороны на несколько дней, чтобы возможно большее число людей могло отдать Ленину последний долг… Он же, А. И. Абрикосов, возглавил, спустя десять лет после похорон, в 1934 году, правительственную комиссию, производившую осмотр в Мавзолее.

Третьим участником поездки в Тюмень был назван Митеревым и тут же утвержден академик Левон Абгарович Орбели (тоже имя знаменитое), чьи работы, связанные с физиологией живой клетки, получили международную известность.

Путь на Урал длился трое суток.

Вместе с Н. Н. Бурденко поехала в Тюмень и его жена, Мария Эмильевна.

Описывая естественное волнение, с каким входили в помещение бывшего реального училища члены комиссии, Г. А. Митерев передает свое первое ощущение:

— Перед нами лежал человек в состоянии глубокой летаргии. Кожный покров был бархатистым и упругим, как у любого спящего человека. Место на коже, которое вызвало своим оттенком некоторые тревоги сотрудников лаборатории, при гистологической проверке оказалось в норме.

Комиссия установила и подтвердила, что контроль в лаборатории осуществляется ежедневно и ежечасно.

Б. И. Збарский не ограничился первым, благоприятным в высшей степени для него и для его сотрудников заключением правительственной комиссии.

Он сделал официальный, обстоятельный и исполненный точного обоснования доклад.

И настоятельно подчеркнул желательность возвращения в Мавзолей. Эта необходимость подчеркивалась не только тем, что война уже ушла далеко на Запад, но и соображениями чисто

научными. Смысл аргументации заключался в том, что с 1939 по 1944 год коллектив лаборатории архитектурного освещения нашел наиболее удобную конструкцию, а также форму саркофага. Вместе с тем была разработана особая осветительная аппаратура. Применены стекла-фильтры, поглощавшие тепловую энергию. Таким образом поток посетителей Мавзолея не будет нарушать условий хранения и сохранения…

Разумеется, здесь, в Тюмени, потока людей не было, все — в обстановке строгой секретности. Кстати сказать, Борис Ильич мечтал о том, чтобы перед возвратом в Москву Ленина увидел Урал, увидела Сибирь, но его ходатайство на сей счет не было поддержано, хотя и местные власти не раз обращались с такой же просьбой к правительству.

Не думается, что это было правильно, дела на фронте шли хорошо, риска вроде бы не было.

Стоит добавить — стремление Бориса Ильича и его сотрудников к возвращению в Москву диктовалось одним существенным соображением: соблюсти все требования хранения на новом месте было трудно.

27 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА семнадцатилетним молодым человеком я был среди многих и многих десятков тысяч людей, которых Петроград, ставший только что Ленинградом, выплеснул с Невского, с Выборгской стороны, с Петроградской, с Васильевского острова, с Нарвской и Невской застав сюда, на Марсово поле, переименованное в площадь Жертв революции…

Здесь, как и в Москве, был жестокий мороз. Стыли в скорбном едином молчании вчерашние петроградцы, сегодняшние ленинградцы, те, для которых смерть вождя есть и будет пожизненной болью, личной, громадной и непоправимой бедой…

В сердцах этих людей отзывался салют, когда здесь, в Ленинграде, как и в Москве на Красной площади, как и во всей стране, закричали, заплакали, застонали гудки фабрик и заводов, сирены кораблей. Россия прощалась с Владимиром Ильичей Лениным, его в эти минуты хоронили на Красной площади…

До самой смерти буду помнить и это заснеженное Марсово поле и слышать траурные гудки и сирены рабочих окраин Ленинграда.

Это было 27 января 1924 года.

А 27 января 1944 года, ровно двадцать лет спустя, день в день, на заснеженном, как и тогда, Марсовом поле снова стояли недвижно ленинградцы, тысячи тех, кто выстоял, отстоял, уберег, спасая свой город, названный неспроста именем Ленина…

Ровно двадцать лет спустя. День в день.

Волею причудливых военных обстоятельств и я стоял в этой огромной молчаливой толпе.

С командировочным предписанием в кармане кителя — выехать немедленно в войска Ленинградского фронта и сухопутные части Военно-Морского Флота, взломавшие кольцо блокады и неодолимо ушедшие вперед, на Запад.

Тогда, вечером 27 января, весь Ленинград содрогнулся от артиллерийского грохота. И здесь, на Марсовом поле, ленинградцы слушали салют из трехсот двадцати четырех орудий, салют завоеванный, выстраданный. Над Исаакием, над Марсовым полем, над ансамблями Кваренги и Растрелли встало сияние салютных ракет.

Слушали. Молчали. Плакали.

В годы блокады я видел плачущих редко.

Было не до слез.

В этот памятный вечер, 27 января 1944 года, плакали все: и женщины, и мужчины.

Вкус победы солоновато-горький, как слезы и как кровь.

Свое стихотворение об этом вечере и об этом салюте Анна Андреевна Ахматова так и назвала:

«27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА»

Вот оно:

И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.

А под тремя звездочками — еще три строчки:

Последнюю и высшую награду —
Мое молчанье — отдаю
Великомученику Ленинграду.

Борис Пастернак тоже отозвался сердцем на девятьсот дней Ленинграда — стихотворением «Победитель». Там есть такие уплотненные, горячие строки:

И вот пришло заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленьи,
В восторге смотрит на его лицо.

Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Все, что возможно на земле и небе,
Им вынесено и совершено.

…Вернувшись из командировки в морскую бригаду, которая вела под Нарвой наступательные бои, я с удовольствием узнал, что работавшему вместе со мной Николаю Гавриловичу Жданову удалось осуществить наш замысел — убедить Пастернака в необходимости написать стихи о Военно-Морском Флоте и его воинских свершениях, чтобы опубликовать их в газете «Красный Флот».

Убеждение было оснащено серьезной аргументацией — ведь он, Борис Пастернак, написал знаменитую поэму «Лейтенант Шмидт», естественно новое обращение к морю, к флоту, к

морской теме, особенно когда корабли и моряки на суше решают сейчас большие стратегические задачи. Я в последний раз видел Пастернака на съезде писателей в 1934 году и сейчас вновь столкнулся с ним в редакции.

Он написал стихи «Неоглядность», «В низовьях» и «Победитель»,опубликованные в нашей газете, — о флоте и о моряках.

Миг долгожданный уже на виду.
За поворотом.
Дали предчувствую.
В этом году — слово за флотом.

А в другом стихотворении — о вновь введенных на флоте наградах, орденах и медалях Нахимова и Ушакова:

Непобедимым — многолетье,
Прославившимся — исполать!
Раздолье жить на белом свете
И без конца морская гладь.
И вот на эту ширь раздолья
Глядят из глубины веков
Нахимов в звездном ореоле
И в медальоне — Ушаков.

Эти стихи тоже были опубликованы в «Красном Флоте».

…Миг долгожданный уже на виду.
За поворотом.

С каждым днем приближался долгожданный миг. И — для пребывания Ленина в далекой Тюмени.

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА в Тюмени в тот час, когда я стоял на Марсовом поле, в бывшем реальном училище в траурном зале собрались все сотрудники, их семьи, состав почетного караула.

Борис Ильич пришел тоже всей семьей.

Встал.

Наступила минута молчания.

В начале июня Збарский был вызван в Москву.

Была основана Академия медицинских наук СССР.

В ее состав вошел Борис Ильич Збарский.

В 1944 году ему была присуждена Государственная премия СССР.

Борис Ильич вскоре вернулся в свою «служебную командировку», в Сибирь, взволнованный атмосферой наступления, неодолимого движения войск на Запад — и озабоченный.

Близился час возвращения Владимира Ильича на Красную площадь, на уготованное ему историей место.

А. В. Щусев воплотил замысел Збарского, создав новый саркофаг. Правительство поддержало просьбу Збарского.

Как уже говорилось, лаборатория архитектурного освещения заново разработала осветительную аппаратуру. Были, в частности, применены стекла-фильтры, поглощавшие тепловую энергию. Посещение Мавзолея бесконечными потоками людей не будет нарушать условий сохранения.

Министр здравоохранения СССР записал в своих воспоминаниях, что «обратный путь в Москву В. И. Ленин совершил в апреле 1945 года, когда наши войска вели бои на Одере и Эльбе, стягивая петлю на горле гитлеровского чудовища…».

9 МАЯ 1945 ГОДА я был в Берлине. У входа в имперскую канцелярию столкнулся с двумя людьми, так же как и я, одетыми в военно-морскую форму, с наганами в черных кобурах на черных ремнях, с большими альбомами в руках.

Я писал об этом в своей «Повести о том, как возникают сюжеты».

Эти двое были знаменитыми художниками Леонидом Сойфертисом и Борисом Пророковым, первый служил в Севастополе в дни осады, другой — на острове Ханко.

Начальник караула впустил нас, и мы вошли в им перекую канцелярию, ступая по щебню, разбросанным папкам имперских дел, пустым бланкам с личными подписями фюрера, затоптанным подошвами побывавших уже тут многих солдатских сапог. Валялись мундиры с генеральским шитьем, железные кресты, медали.

В одном из кабинетов Пророков заметил прислоненный к стене массивный поясной портрет Гитлера. Они с Сойфертисом посмотрели на портрет, улыбнулись и принялись за работу: чуть удлинили челку, чуть подправили усики, чуть подчеркнули мешки под глазами, чуть подбавили теней, чуть выпятили подбородок — и произошло волшебное превращение помпезного

портрета в карикатуру.

Взвалили портрет на плечи и преподнесли его солдатам караула. Они за войну понарисовали такое количество карикатур на Гитлера, что тут же поклялись: «С темой Гитлера в нашем творчестве покончено раз навсегда, это своего рода «лебединая песня».

На улице вдруг раздались выстрелы — до этого в Берлине уже была мирная тишина, завоеванная последним штурмом. Услышав выстрелы, солдаты, привычно схватившись за автоматы, выбежали из имперской канцелярии.

Слышались пулеметные очереди, автоматные, винтовочные и револьверные выстрелы.

Кроме наших солдат и офицеров, на улице никого не было, выбравшиеся за эти дни из подвалов и бункеров берлинцы, заслышав новую пальбу, в ужасе и отчаянии вновь кинулись в подвалы.

Выстрелы гремели все сильней. Стреляло словно бы все, что могло стрелять. И солдаты караула не оказались исключением: подняли вверх свои автоматы и тоже стали палить.

В этот час, как оказалось, было передано сообщение о том, что капитуляция свершилась, мир подписан, мир, мир, мир!..

Острое ощущение счастья было тогда в сердцах миллионов людей.

Вы, наверное, видели многие документальные кадры, свидетельствующие об этом сильней всяких слов, — радовалась, торжествовала, поистине пела душа, позади неимоверные страдания, неимоверные жертвы, верилось, что теперь наступит совершенно новая пора, все смутное, больное, гнетущее в предвоенные годы сгинет, исчезнет, никогда не повторится. Гнали прочь воспоминания.

Верилось, что времена арестов, тюрем, ссылок, казней, расстрелов, преследований, подозрений минули, минули навсегда, и не хотелось поминать старое…

Даже пострадавшие в те годы верили, что теперь-то, теперь-то, когда народ кровью своей заплатил за то, чтобы всю без исключения страну объединил великий порыв патриотизма, чтобы все люди до одного, от хлебороба до маршала, были бы едины, духовно сплочены и теперь с энтузиазмом будут поднимать страну из руин…

Таким был этот победоносный первый послевоенный май, первый послевоенный год…

ЛЕНИН ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ. И тотчас же Збарский

начал готовиться к открытию Мавзолея. Был уже сделан новый саркофаг, усовершенствована система освещения. Борис Ильич обратился ко мне с просьбой помочь ему пригласить компетентных кинематографистов в Мавзолей, чтобы проконсультироваться в связи с новым освещением траурного зала. Были приглашены Сергей Эйзенштейн, Сергей Юткевич, кинооператор Юрий Екельчик, много лет работавший с Александром Довженко. Они посетили траурный зал, нашли освещение превосходным, дали несколько ценных деловых советов…

Борис Ильич вернулся к своим повседневным делам. В Москве в его квартире непрерывно звонил телефон, дверь в передней хлопала беспрерывно, кабинет наполнялся людьми, приходили поздравлявшие его с возвращением после четырехлетнего отсутствия ученики, друзья, и в эти дни, вечера и ночи было повторено бесчисленное количество раз прекраснейшее слово — Победа.

Москва между тем оживала, веселела с каждым днем, все больше привыкая к мирной, созидательной жизни. Уже давно возвратились из эвакуации театры, и афиши пестрели новыми названиями пьес, идущих на столичной сцене, в литературе появились новые имена, Всеволод Вишневский, вернувшийся из Берлина, был назначен редактором журнала «Знамя» и уже успел открыть новые для литературы имена, поднялась волна военной документальной и художественной прозы…

Я познакомил Всеволода Витальевича Вишневского и его жену, Софью Касьяновну Вишневскую, со Збарским, и они сразу же подружились и стали в Доме на набережной частыми гостями…

27 ИЮЛЯ 1945 ГОДА Борису Ильичу исполнилось шестьдесят лет. Указом ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В Серебряный Бор, на его дачу, собралось много народу. Ученые, писатели, актеры, просто друзья… Снова был слышен категорический, резкий голос академика Алексея Дмитриевича Сперанского, снова он опять с кем-то горячо спорил.

Приехала Мария Эмильевна Бурденко, передала сердечные поздравления от президента Академии медицинских наук — сам Николай Нилович не мог приехать, он был болен.

Я вслушивался и в очень серьезные, и в шутливые поздравления собравшихся ученых и думал о том, как хорошо бы, как нужно бы написать пьесу о нашей талантливой научной интеллигенции, пьесу, в которой были бы собирательные персонажи, воплотившие черты и Сперанского, и Бурденко, и

Збарского…

Был тут Рубен Николаевич Симонов с женою, Еленой Михайловной Берсеневой, давний друг Бориса Ильича. Аккомпанируя себе на гитаре, чудесно спел несколько старинных романсов.

И Вишневский, как всегда, стиснув зубы и сжав кулаки, произнес зажигательную речь о Борисе Ильиче, часовом, который двадцать лет не покидал свой круглосуточный пост, о Николае Ниловиче Бурденко, главном хирурге Советской Армии, о генерале-академике Сперанском, о Победе, о Берлине, о Ленине, о предстоящей опасности новой мировой войны, если человечество не будет разумным…

Было это все 27 июля 1945 года.

…А шестого августа 1945 года сброшена на Хиросиму первая атомная бомба.

И вспомнились сжатые кулаки Вишневского.

После памятного дня в Серебряном Бору я начал работать над пьесой о научной интеллигенции.

ОБ ОДНОМ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМ ЗАМЫСЛЕ. Бурденко Николай Нилович, первый президент Академии медицинских наук СССР. Один из основоположников нейрохирургии СССР. Главный хирург Советской Армии. Генерал-полковник медицинской службы. Коммунист.

…Пораженный в мозг (в третий раз), потерявший речь (в третий раз), глухой, переставший управлять своим ставшим беспомощным и недвижным телом, он пишет консилиуму, собравшемуся возле его кровати, записку.

Я переписал ее от слова до слова.

> «1905 г. — контузия, от которой я начал глохнуть.
>
> 1917 г. — другая контузия, от которой я окончательно потерял слух в 1937 г.
>
> 1941 г. — я ездил по фронтам и очень устал.
>
> 1941 г. — я подвергся бомбардировке во время переправы через Неву, около Шлиссельбурга, и вскоре у меня был инсульт.
>
> 1945 г. — вновь инсульт. Мне уже 70 лет. Пора умереть».

Консилиум перечитывает записку. Снова и снова она переходит из рук в руки. Да, инсульт. В 1945-м был второй, сейчас, летом 1946-го, — третий.

Консилиум единогласно присоединяется к точке зрения больного. Больной поставил сам себе единственно правильный диагноз.

Инсульт.

Пораженный в третий раз мозг, однако, продолжал действовать.

Он был ясен и светел и стремился оставить людям то, что он хотел оставить.

Не завещание. И не распорядительные письма.

Задача была скромнее.

Мозг умирающего стремился успеть зафиксировать на бумаге доклад на предстоящем двадцать пятом Всесоюзном съезде хирургов.

И пальцы, подчинившись жесткому приказу мозга, взяли со стула карандаш и бумагу, и сжались, и повели карандаш по бумаге.

Он писал и писал, знаками требуя новые блокноты и вновь зачиненные карандаши.

Это было в лето 1946 года.

И в этот же год, в Политехническом музее в Москве, собрался Всесоюзный съезд хирургов — двадцать пятый.

И — первый послевоенный.

Он был и будничным, и торжественным: хирургия на войне делала свое святое дело — и руками светил, и руками невидных дивизионных врачей, и в оборудованных госпиталях, и в полевых лазаретах, и просто в палатках близ линии фронта.

Однако на съезде не было человека, который спас тысячи жизней солдатам и офицерам сам и научил спасать эти жизни своих учеников.

Ученики называли имя учителя в своих выступлениях и в кулуарах и знали, что он сам поставил себе смертельный диагноз, и то, что этот диагноз единственно правилен, и то, что их учитель, избранный почетным председателем съезда, лежит дома, бессильный и слабый.

Имя его упоминалось неоднократно.

И однажды, при очередном упоминании, казалось, привыкший к этим упоминаниям зал встрепенулся, ожил, загрохотал, встал.

Оратор смутился, примолк.

И повернул голову туда, куда повернули головы все.

В большую аудиторию Политехнического музея входил, под руку со своей женой, почетный председатель съезда, приговоренный к смерти самим собою.

Может быть, врачи, понимавшие, что с ним происходило, догадывались, каких усилий стоил ему этот неожиданный приход, но он шел и шел, и кланялся еще в придачу, и еще в придачу — улыбался.

Так он шел и шел, а зал все стоял, и все рукоплескали ему, а он, сопровождаемый своею женою, опираясь на ее твердую руку, поднялся по лесенке в президиум съезда, и председательствующий генерал-лейтенант медицинской службы, крупнейший хирург, академик Юстин Юлианович Джанелидзе предложил ему стул, и усадил его и его жену в центре, и, успокаивая гремящую овацией аудиторию, поднял руку.

— Товарищи, прошу тишины. — И, когда зал стих, добавил негромко: — Абсолютной тишины. — И в наступившей тотчас же тишине сказал: — Дело в том, что просит слова Николай Нилович!

Все повскакали с мест, снова овации. Николай Нилович смотрел на зал, улыбался — немного печально.

А Джанелидзе вновь попросил тишины.

— Вы не совсем точно поняли меня, товарищи, — сказал Джанелидзе. — Николай Нилович сам не может говорить. Он лишен этой возможности, и доклад прочтет его ученик, профессор Лепукалн.

И в той самой абсолютной тишине, какой требовал хирург Джанелидзе и какая уже не прерывалась до последней фразы, профессор Лепукалн прочитал доклад, содержанием которого было лечение огнестрельных ран в Отечественную войну…

А Бурденко, продолжая улыбаться, вглядывался в зал и, узнавая знакомых, чуть кивал им головой, и это чуть заметное движение тоже его утомляло.

А после заседания взял листочек бумаги и написал щемящие слова:

> «Этот доклад — моя лебединая песня: до следующего съезда я не доживу».

Через месяц и три дня на первых полосах газет появилось извещение о его смерти.

И улицу, на которой он жил неподалеку от Садового кольца, назвали его именем.

И присвоили его имя клинике Первого медицинского

института, Нейрохирургическому институту Академии медицинских наук и Главному военному госпиталю Вооруженных Сил СССР.

И в Москве поставили ему памятник.

…А мне вспомнилось — после того как он вернулся из Тюмени, тут, в Москве, зимним холодным вечером, после доклада правительству он пришел домой к Борису Ильичу, приехавшему в столицу в связи с этим докладом. Тщательно отряхивал метелкой снег и сапоги в прихожей, посматривал на нас с женою, пришедших в гости к Збарскому, ласково и любопытно, когда Борис Ильич объяснял, кто мы и что мы…

Он порядком промерз, и поеживался, и растирал руки, прежде чем начать свое столь важное для Збарского сообщение о только что состоявшемся в Кремле визите правительственной комиссии.

Борис Ильич предложил прежде всего согреться и налил всем вина, и Бурденко чокнулся с ним первым, сказав, что он пьет за научную и гражданскую доблесть Бориса Ильича и что тост этот от чистого сердца.

Помню его голос, его тональность, начальственную и одновременно располагающую, он передал поклоны от Марии Эмильевны, очень тепло говорившей о семействе Збарских.

Тут же с улыбкой рассказал, как сегодня рассердился на кассиршу одного из институтов, где он работал: ему срочно понадобились зачем-то деньги, и он решил зайти в кассу и получить зарплату, обычно это, как и все бытовые хлопоты, передоверял жене, и так было не один месяц и не один год. Кассирша представить не смела, что Бурденко — мужчина, она уверяла Николая Ниловича, что он — женщина, и попросила доверенность.

…Когда он потерял дар речи и уже писал то, что хотел сказать, она, Мария Эмильевна, научилась понимать его по глазам, по пальцам рук, по повороту головы…

В этот вечер в гостях у Бориса Ильича было обо многом говорено, Бурденко был в добром настроении, и рассказывал, и расспрашивал, особенно оживился, когда речь пошла о Ленинграде, ведь еще в июле сорок первого, когда уже фашистские войска рвались к Ленинграду, он выехал на Ленинградский фронт, объехал на машине всю прифронтовую полосу, осмотрел больше сорока госпиталей, сам делал операции…

В потрясающем своим мужеством диагнозе, переданном консилиуму, собравшемуся возле его кровати, он кратко упоминает об этом тяжелейшем периоде его фронтовой жизни:

> «1941 г. — я подвергся бомбардировке во время переправы через Неву, около Шлиссельбурга, и вскоре у меня был инсульт»…

По сей день жалею — не написал о нем, хотя образ этого человека, его биография пленили бесконечно и черты его так или иначе я вписывал не раз то в один, то в другой драматический рисунок, делая это почти бессознательно.

Но я мечтал написать о нем как о личности невымышленной, с его фамилией и с его подлинной судьбой, может быть, пьесу, может быть, сценарий…

Мысль эта не оставляла долго, я ходил в квартиру, где он жил еще недавно, на улице его имени, близ Зубовского бульвара, с разрешения вдовы его, Марии Эмильевны, рылся в выцветших его бумагах времен и духовного училища и семинарии, и Томского и Дерптского университетов, разглядывал и студенческие его фотографии, внимал ее рассказам, нелепым, эгоцентрическим и все-таки любопытнейшим, потому что она сама была незаурядным по-своему человеческим экземпляром, — но об этом чуть позже…

Я уже, мне кажется, нашел главную, ведущую тему его жизни, уже знал и его обыденные привычки, излюбленные им словечки, знал и всю бытовую и всю трагическую стороны его поистине мощной, и неординарной, и милосердной биографии.

У меня сохранились выписки из его личных воспоминаний, из брошюр и книг его биографов, важнейшие даты его жизни…

Заявился на свет божий в девятнадцатом веке, как и Борис Ильич, только раньше его на девять лет — родился в 1876 году. Кончил духовное училище, потом семинарию, не захотел быть священником, вопреки воле отца поступил в Томский университет, вот тебе две семикопеечные марки, сказал отец, пришлешь мне заказным извещение, когда придет твой последний час, а денег и не проси, неоткуда мне их взять… Бурденко решает сдать по всем предметам на пять баллов — тогда получит стипендию.

> «Получил круглые пять — это стоило двух месяцев бессонных ночей… Пугали: придется за нее служить где-то в местах отдаленных и «сильно прохладных», в поселке, где живут только заседатель, доктор, пять казаков, где все в течение трех лет допиваются до белой

горячки и сходят с ума, где даже ездовые быки и те пьют водку…»

Участник четырех войн — русско-японской, первой мировой, финской, великой Отечественной…

В Маньчжурии, на русско-японской, в составе полевого летучего отряда милосердия его ранят на поле боя — пулей навылет.

Тогда — редкая для врача награда — солдатский Георгий…

В 1914 году снова на войне в действующей армии. 28 декабря в петроградской газете «Вечернее время» — большая корреспонденция, заглавие «Профессор Бурденко», «маленький, невзрачный человек в защитной куртке и фуражке, в высоких сапогах, про которого сестры говорили «такой руки, как у профессора Бурденко, второй в армии нет»…

Второй в армии…

Такой второй не было потом и на фронте, и в мировой хирургической науке.

20 декабря 1944 года открылась первая учредительная сессия Академии медицинских наук СССР. Первым ее президентом избран Николай Нилович Бурденко. Единогласно, под бурные аплодисменты.

Вот тогда уже сблизился с Борисом Ильичом. Нравились его энергия, его отдача, его надежность.

220-летие Академии наук. Академик Бурденко награждается орденом Ленина.

Звание Героя Социалистического Труда ему было присвоено в самый разгар Отечественной войны.

Почетный член Международного общества хирургов, почетный член Лондонского Королевского общества, американского объединения врачей, доктор гонорис кауза Парижской академии хирургии…

Три ордена Ленина, орден Красного Знамени, Отечественной войны первой степени…

Когда началась война, 22 июня 1941 года пришел в Военно-санитарное управление Красной Армии.

— Считаю себя мобилизованным.

Приказом народного комиссара Бурденко присвоено звание корпусного врача — сокращенно «корврача». И одновременно назначен главным хирургом Красной Армии. Потом было звание — генерал-полковник…

На фронте неоднократно брал в руки скальпель и оперировал в непосредственной близости от поля боя.

И тогда, как и в самом начале его воинского, научного,

хирургического пути, его идеалом, его любимым человеком был другой великий русский хирург, как и он, делавший операции в дыму сражений, — Николай Иванович Пирогов.

И в кабинете Бурденко был бюст Пирогова…

Любил театр. Даже сам когда-то во времена учения в семинарии играл в любительских спектаклях — и Осипа в «Ревизоре», и Митрофанушку в «Недоросле».

В Москве был завзятым театралом и восторгался Остужевым и Щукиным, писал даже о своих театральных впечатлениях (было это еще до войны) в журнал «Театр»…

Штрихи, штрихи…

Ему было шестьдесят пять лет, когда он потерял речь.

Лежал в тыловом военном госпитале — его отвезли в Омск.

Был утренний обход.

Бурденко протянул врачу листочек бумаги. Там было написано:

«Принесите мне зеркало».

— Зачем оно вам? — спросил врач, забыв, что Бурденко не слышит. Тогда врач повторил свой вопрос — на бумаге.

Бурденко написал:

«Я буду снова учиться говорить».

Врач написал:

«Не будет ли вам тяжело?»

Бурденко, уже сердясь, ответил:

«Дайте зеркало. Корврач Бурденко».

Изо дня в день, из недели в неделю он, наедине с зеркалом, тренируется в приемах артикуляции языка, губ, учится нараспев произносить слоги, не слыша их звучания, и вот наконец она, долгожданная минута. Впервые спрашивает Марию Эмильевну о чем-то, и Мария Эмильевна пишет ему ответ на листочке — она расслышала, она поняла: к нему вернулась речь.

А он вернулся к своей работе, к реализации своей идеи ранней госпитализации тяжелораненых — в живот и таз, в череп и грудную клетку; снова на фронтах, в госпиталях…

Стыдно признаться, что я, уже написав развернутое либретто будущего фильма о Н. Н. Бурденко, — все движения, весь ход сценария уже был у меня в голове, да и частично на бумаге, — отставил этот труд, испугавшись его жены, милой Марии Эмильевны. Она давно умерла, и я могу признаться в своем малодушии открыто.

Мария Эмильевна по-своему тоже была выдающейся

личностью, и так же как Николай Нилович походил и не походил на своего гениального предшественника Пирогова и на других крупных и талантливейших ученых, так и его жена походила и не походила на многих верных подруг выдающихся людей — и своей безграничной преданностью им, и чрезмерностью этой преданности, порою становившейся барьером, отделяющим своих мужей от общения с людьми, такому необходимому и естественному…

Я познакомился с нею давно, еще когда был жив Николай Нилович, помню, как гремел на даче в Серебряном Бору, у Бориса Ильича, ее непререкаемый, властный женский басок и как она безапелляционно высказывала свои суждения, быть может, не слишком современные, но всегда ошеломляющие своей крутой прямолинейностью и убежденностью, что она, Мария Эмильевна, была всегда права, и в этой ее убежденности было нечто талантливое…

Не зря академик Андрей Дмитриевич Сперанский говорил как-то, что, когда он слушает Марию Эмильевну и смотрит на нее, ему на память приходит и крестная Наташи Ростовой, и бабушка из «Игрока» Достоевского. При этом он ценил яркость и своеобразие ее натуры.

Когда я навещал ее на улице имени Бурденко, она требовала от меня всех подробностей будущего, еще находившегося в чернильнице, замысла.

Я называл ей возможных исполнителей — она тут же их отвергала, хотя я не был уверен, что она их всех знала — еще не было телевизоров.

Однако самое сложное было впереди.

— Все актрисы, которые будут играть, по вашему мнению, жену, никуда не годятся. Тут у меня сомнений нет. И знаете что — я сегодня не спала всю ночь и пришла к решению — жену Николая Ниловича будет играть жена Николая Ниловича.

Посмотрев на меня испытующе, проверяя впечатление, добавила:

— Иначе над вами будет смеяться вся Москва, ведь меня знает вся Москва.

«Может быть, — подумал я, оробев, — ее действительно знает вся Москва, но что мне делать в таком случае?»

И я смиренно заметил:

— Мария Эмильевна, поймите, я же делаю вас молодой, и актриса, вас играющая, непременно должна быть молода и… — подхалимски добавил я, — и очень привлекательна как женщина.

— Привлекательности от меня не отнять, — согласилась

она. — А вообще-то за что получают деньги ваши гримеры? Загримируют меня — и нет вопроса. Нет-нет, себя я должна и буду сама играть.

Тут я ничего не нашел другого, как испугать ее ночными съемками.

— У меня бессонница, — моментально парировала она. — Значит, так. Жену Бурденко играю я. Дальше.

Дальше не было. Я понял, она лишит меня покоя и творчества, и сказал, что отказываюсь пока от своего замысла. А там видно будет.

Так и не написал этот сценарий.

А жаль.

Может быть, кто-нибудь и сделает фильм о Николае Ниловиче Бурденко. Поверьте мне, это может быть великая картина.

Когда я довел до сведения Бориса Ильича все это, он тоже сказал:

— Жаль. — Но добавил: — Впрочем, я вас понимаю. В творчестве нельзя никому и никогда мешать… Даже когда у тебя бессонница.

УТРОМ 16 АВГУСТА 1946 ГОДА у нас на квартире раздался телефонный звонок. Голос Бориса Ильича:

— Читали «Правду»?

— Нет еще.

— Выезжаю к вам.

Прочли газету. Потрясенные, молчим.

«Правда» лежит на столе. Збарский, войдя, посмотрел на нее, и только покачал головой, и только развел руками.

Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года.

> «…Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» («Звезда», № 5—6 за 1946 г.) представляет

пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо-карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами».

«…Предоставление «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко…»

«…написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца».

«…Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающей вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства — «искусства для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе».

«…Журнал стал заполняться малохудожественными пьесами и рассказами («Дорога времени» Ягдфельда, «Лебединое озеро» Штейна)».

«…«Ленинградская правда» допустила ошибку, поместив подозрительную хвалебную рецензию Юрия Германа о творчестве Зощенко в номере от 6 июля с. г.».

Борис Ильич посмотрел на меня.

— Александр Петрович! Что это такое? Что это такое?

Мне было нечего сказать.

Сижу, пишу эти строки у себя в кабинете. Тот же август месяц. На полке стоит двухтомник Ахматовой, великой поэтессы, изданный в 1986 году, на другой полке — только что вышедший (в 1987 году) трехтомник М. Зощенко. И вновь с горькой улыбкой вспоминаю слова К. И. Чуковского: «Писатель в России должен жить долго…»

ГОРЬКИЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ЗОЩЕНКО в 1921 году.

Из их переписки, длившейся с 1927 по 1936-й, да и по свидетельству многих писателей той поры, в частности

К. Федина, не составит труда обнаружить, с каким пристальным и, я бы сказал, любовным вниманием относился Алексей Максимович к Михаилу Михайловичу, какой высокой меркой оценивал его талант…

> «…Рад узнать, что вы написали большую вещь. С нетерпением буду ждать вашу книгу. Недавно — недель шесть тому назад — получил четыре томика ваших рассказов — исподволь прочитал их и часто читаю вслух, — вечерами, после обеда — своей семье и гостям. Отличный язык выработали вы, М. М., и замечательно легко владеете им. И юмор у вас очень «свой». Я высоко ценю вашу работу, поверьте: это не комплимент. Ценю и уверен, что вы напишете весьма крупные вещи. Данные сатирика у вас — налицо, чувство иронии очень острое и лирика сопровождает его крайне оригинально. Такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого, лишь изредка удавалось это Питеру Альтенбергу, австрийцу, о котором Р.-М. Рильке сказал: «Он иронизирует, как влюбленный в некрасивую женщину». Почему бы вам не съездить за границу, напр., сюда в Италию? Пожили бы, отдохнули».

Это — из Сорренто, 16 сентября 1930 года.

А вот из письма оттуда же, из Сорренто, помеченного уже 13 октября 1930 года:

> «…А юмор ваш я ценю высоко, своеобразие его для меня — да и для множества грамотных людей — бесспорно, так же, как бесспорна и его «социальная педагогика». И глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальнейшую книгу…»

Из Сорренто — 8 ноября 1930 года:

> «…Я был рад получить весточку от вас, потому что вы «интересный» человек, талантливый писатель и мне приятно, что я вас знаю, что вы есть».

Год тридцать шестой. Письмо из Тессели.

> «…Дорогой Михаил Михайлович —
> вчера прочитал я «Голубую книгу». Комплименты

мои едва ли интересны для Вас и нужны Вам, но все же кратко скажу: в этой работе своеобразный талант Ваш обнаружен еще более уверенно и светло, чем в прежних».

Цитирую все эти письма далеко не полностью, думаю, думаю, думаю…

Будь жив Горький, как бы он отнесся к тому, что Зощенко — сказано в официальном документе — «пошляк и подонок литературы»?

В лучшем случае — был бы повергнут в величайшее уныние.

А в худшем?

А как себя чувствовал сам Михаил Михайлович? Он вел себя достойно, благородно, только огорчился, что один из его довольно близких знакомых, писатель, завидев Зощенко издали, торопливо перебежал на другую сторону.

Фадеев, рискуя навлечь на себя верховный гнев, передавал в Ленинград деньги Зощенко, помогал Михаилу Михайловичу в эти времена и один из Серапионовых братьев — Каверин.

А как себя чувствовала Ахматова, названная тогда же в докладе А. Жданова «блудницей»?

Я был лишь обруган (походя) за рассказ «Лебединое озеро», навеянный моей дружбой с летчиком Ленинградского фронта Васей Очневым, новелла о нем была впоследствии опубликована в моей документальной повести. А Юрию Павловичу дорого стоило упоминание его хвалебной рецензии о Зощенко, особенно то, что она была названа словом «подозрительная».

На следующий день после опубликования постановления мы с Людмилой Яковлевной приехали в Ленинград, где у меня были дела в киностудии «Ленфильм». Пришли к Германам — нам открыла дверь Татьяна Александровна, жена Юрия Павловича.

— «Подозрительная» рецензия, Шура, что это означает? Нас, наверное, арестуют?

Нас никто не арестовал, как и всех действующих лиц этого кошмарного спектакля, главных и третьестепенных.

Однако автоматизм действовал в те времена безотказно и притом одинаково быстро, энергично — и при восхвалении одним человеком, и при (с его стороны) поношении…

Тем более что Юрий Герман в течение многих лет, и довоенных, и послевоенных, был влюблен в Зощенко, именовал его Маршалом советской литературы. Писал мне в письме из Полярного с действующего Северного Флота:

«Низко прошу поклониться М. М. Зощенко и сказать ему, что мы тут с восторгом читали его «Рогульку».

После постановления издательства не мешкали: вылетели из плана повести Юрия Павловича «Студеное море» и «Жена», сценарий «Пирогов», написанный для режиссера Григория Козинцева, на корню был разгромлен, и если бы режиссер мужественно не боролся за сценарий, он бы так и «полег» на полку киностудии «Ленфильм». Но Козинцев воевал за него, и в конце концов фильм вышел, более того, Юрий Герман был отмечен Сталинской премией.

Но тогда, в 1946-м, Юрий Павлович не видел этого сияющего будущего.

Что касается меня, то и я не избежал возмездия за одно лишь негативное упоминание моей фамилии в документе.

И в «Литературной газете» была помещена статья, уж и не помню чья, учинившая разгром моему скромному творчеству в театре, кино и прозе вкупе…

Между тем новые постановления следовали друг за другом с ошеломляющей, угнетающей быстротой.

26 сентября того же 1946 года в новом постановлении сказано:

> «…Имеются пьесы слабые, безыдейные, в числе их «Новогодняя ночь» А. Гладкова, «Лодочница» Погодина». Пьесы тотчас же после этих упоминаний были выброшены из текущего репертуара.

4 сентября 1946 года…
Еще одно постановление.

> «…кинофильм «Большая жизнь» (вторая серия), режиссер Л. Луков, автор сценария П. Нилин) порочен в идейно-политическом и весьма слаб в художественном отношении…» «Фильм «Большая жизнь» проповедует отсталость, бескультурье, невежество». «Для связи отдельных эпизодов фильма служат многократные выпивки, пошлые романсы, любовные похождения, ночные разглагольствования в постели. Введенные в фильм песни (композитор Н. Богословский, авторы текстов песен А. Фатьянов, В. Агатов) проникнуты кабацкой меланхолией и чужды советским людям».

Это все о первой серии фильма «Большая жизнь»…
А вот там же, в том же постановлении:

> «Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении

исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского Ку-Клукс-Клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета».

«Ввиду изложенного выпуск на экран второй серии фильма «Большая жизнь» запретить».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ АНИЧКОВ, академик, будущий Герой Социалистического Труда, крупный патолог, генерал-лейтенант медицинской службы, был избран после ухода из жизни Николая Ниловича Бурденко новым президентом Академии медицинских наук. Это событие отмечалось в домашней обстановке на квартире Бориса Ильича. Зная, что я думаю над будущей пьесой об ученых, Збарский пригласил и меня на этот вечер. Собралось человек тридцать — сорок. Избранный вновь президент придерживался сухого закона и вовсе не пил никакого спиртного, перед ним поставили стакан крепкого чая, он чокался им, и академик Сперанский сказал шутливо:

— Добра не будет, снова будут новые выборы.

Все смеялись.

Разговор пошел о развернутой в стране во всю ширь кампании по борьбе с низкопоклонством. С самого начала кампания приняла уродливые формы, но об этом говорилось бегло, боязливо, вскользь. Среди первых жертв кампании был профессор, крупный и талантливый физиолог Василий Васильевич Парин, ездивший в Соединенные Штаты с научным докладом, где он, в частности, говорил об опытах ученых Клюевой и Роскина, работавших над созданием противоракового препарата. Тут же на стол Сталину, для подтверждения его теории о необходимости жесточайшей кампании против низкопоклонства, были положены фальсифицированные материалы о том, что якобы он, Парин, предает интересы советской науки. Сталин пришел в ярость, Парин был арестован.

Впоследствии ученого освободили за отсутствием состава преступления. Я с ним никогда не был знаком, никогда его не видел, но был рад необыкновенно тому, что он стал впоследствии, как свидетельствует справка энциклопедии, академиком Академии наук СССР, автором классических научных трудов, участником организации и проведения медико-биологических экспериментов на искусственных спутниках и космических кораблях. Он умер в 1971 году, и на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Что касается Клюевой и Роскина, то они были обвинены в создании вредной шумихи вокруг их открытия, в ненужной сенсационности в ряде публикаций в газетах и журналах, а главное, в опасности передачи технологии открытия за пределы страны.

Все эти события способствовали не особенно хорошему настроению и душевному подъему собравшихся в Доме на набережной ученых. Все уже понемножку начали расходиться, когда дежурившая в квартире «охрана объекта» в лице подполковника позвала к телефону Бориса Ильича. Звонил Всеволод Вишневский, разыскивавший меня, — к нему приехали ленинградские блокадные друзья, Ольга Берггольц, ее муж, литературовед и профессор Ленинградского университета Георгий Макогоненко, был с ними и мой друг по блокаде Александр Крон.

Борис Ильич взял трубку и пригласил всех собравшихся у Вишневского к себе. От квартиры Вишневских до Дома на набережной рукой подать, и вскоре Всеволод Витальевич был со всеми своими гостями и женою у Збарских.

Имя Ольги Берггольц пользовалось тогда популярностью необычайной, строчки «Сто двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью пополам» стали классическими. Еще не успевшие разъехаться академики встретили Ольгу Федоровну аплодисментами, тут же попросили почитать стихи, она стала читать с охотой, там были не однажды вспоминавшиеся нам потом удивительные строки:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть как тень тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

Тут она остановилась и, поправив льняную челку своим обычным жестом, отчетливо сказала вдруг неожиданно:

— Анна Андреевна Ахматова была, есть и будет крупнейшей поэтессой России.

— Ольга, зачем? — Г. Макогоненко укоризненно погрозил ей пальцем. — Мало тебе, что ли?

— Я теперь ничего и никого не боюсь, — сказала она и обратилась ко мне: — Саша, а ты помнишь наши встречи, как пела в романсе Изабелла Юрьева? Помнишь, на Литейном ты шел из Дома Маяковского, а я из Большого Дома, откуда меня

выпустили после восьмимесячного заключения? Меня ведь обвиняли всего лишь в соучастии покушения на Жданова. Всего лишь.

— Оля, — снова укоризненно сказал Макогоненко.

Ольга Федоровна снова поправила свою челку и повторила:

— Ничего и никого не боюсь.

И стала петь. Она чудно пела именно так, камерно, без аккомпанемента. Спела уличную песенку:

Не встречать с тобою нам рассвет,
После этой ноченьки, прекрасной
Нашей ночки. На прощанье
Ты сказал мне: «Нет! И расставаться
Нам с тобой пора»…

Почувствовав успех, спела еще и песенку на слова Михаила Светлова:

Ты живого меня пожалей-ка,
Ты слепого обрадуй во мгле…
Далеко покатилась копейка
По холодной, по круглой земле…

Снова был восторг ученых, один из них с такой серьезностью и старанием, достав записную книжку, тщательно записывал слова песенок, будто бы дело шло о важных научных формулах… Словом, вечер завершился прекрасно.

СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ Борис Ильич Збарский попросил меня заехать.

Встретил, сдерживая заметную взволнованность, провел в кабинет. Рассказал.

Трех советских ученых вызвали по одному важному делу в самые высокие инстанции. Петра Андреевича Куприянова, основателя научной школы кардиологов, главного хирурга ряда фронтов в Великую Отечественную войну, генерал-лейтенанта медицинской службы, впоследствии в 1960 году получившего Ленинскую премию, в 1963 году — звание Героя Социалистического Труда; академика Збарского; академика Илью Давидовича Страшуна.

Всем им было предложено от самого высокого имени выступить на предстоящем суде чести. Петр Андреевич назначен главным общественным обвинителем.

Суд чести над Клюевой и Роскиным, во имя рекламы и сенсации якобы отдавшим свое открытие Западу.

О Клюевой он знал мало, что касается Роскина, то, по его мнению, это очень, очень талантливый ученый, двадцать пять лет отдавший работе над противораковой вакциной, человек не от мира сего, чистый, нисколько не меркантильный, лишенный всякой суетности. Что если он в чем-то и виноват, то только в полном непонимании жизни.

— В чем же вы видите свою задачу в таком случае?

— Если уж так случилось и ничего нельзя избежать — то лучше буду выступать я. Для них лучше. Хочу позвать их к себе и посоветовать, как надо умно и тактично вести себя в этой, как вы сами понимаете, мучительной ситуации.

— А что по существу самого открытия?

Збарский, помолчав, сказал:

— Если такое открытие произойдет, им обоим надо поставить золотой памятник. И я буду первым, кто внесет это предложение.

— Но открытие произойдет?

— Пока не знаю. Знаю, что Роскин крупный и истинный ученый. И всей душой, всеми силами стремится к открытию. И главное, верит…

…Прошло много-много лет после этого разговора. Время показало, что пока открытия, увы, не произошло. Рак по-прежнему свирепствует. И золотой памятник пока ставить некому…

Суд чести состоялся. Клюевой и Роскину был вынесен общественный выговор. По тем временам весьма гуманный финал.

Кажется, так говорила молва, предполагались еще такие или подобные суды.

Но, насколько я помню, больше их не было.

И на том спасибо.

В ШЕСТИТОМНОЙ ИСТОРИИ советского драматического театра, вышедшей в издательстве «Наука», в пятом томе, «1941—1953», вышедшем в 1969 году, говорится о пьесах и спектаклях этих лет.

> «…Декларативность тезисов, иллюстративность, конструирование образов «положительных героев» — все это отчетливо проявлялось в спектаклях и пьесах, хотя авторы их искренно стремились отразить главные тенденции времени и типические образы своих современников.

Театры показали целую серию пьес сюжетно почти одинаковых, посвященных бдительности советских людей, борьбе с низкопоклонством перед Западом. Советский ученый, честный человек, но политически близорукий, страдает пережитками абстрактного гуманизма, не умеет оберегать свою научную работу от происка врагов. Его рукопись попадает к ним в руки с помощью низкопоклонников-карьеристов, которые докатываются до прямого шпионажа. Благодаря усилиям более бдительных друзей открытие ученых не используется врагами, а сам он быстро осознает свои ошибки. На этом были построены спектакли «Великая сила» Б. Ромашова в Малом театре (1947), «Закон чести» А. Штейна в Московском театре драмы (1948), «Чужая тень» К. Симонова, поставленная во МХАТ (1949).

В них были удачи отдельных актеров, но искусственная заостренность основных ситуаций и образов главных героев сегодня ощущается особенно сильно. Тягостна сама атмосфера пьес, где лучший друг оказывается предателем, а порой простая информация о научной работе расценивается как тяжкое преступление. Режиссеры много и тщательно работали, чтобы придать этим пьесам правдоподобие на сцене, обставить со всей возможной правдой залы заседаний, кабинеты, дачи академиков, лаборатории ученых. Актеры добивались правды общения, интонаций, но, внешне такие злободневные, спектакли эти уводили театр от раскрытия реальной жизни, а не приближали к ней. Поэтому многие пьесы, обойдя в один сезон десятки театров, сразу же сходили со сцены, сменялись новыми».

Сказано справедливо — обо всех трех пьесах, и в частности о моей — тоже. Все верно и даже недостаточно резко. Так или иначе мы все, и я в том числе, несем ответственность за то, что были во власти магии готовых директивных формул, в тисках схоластических догматов, автоматизма зашоренного сознания, в плену слепой веры и доверия к высшему партийному руководству.

И моя пьеса «Закон чести», равно как и вся история ее возникновения, — живое и наглядное тому доказательство.

С БОЛЬЮ ПИШУТСЯ МНОГИЕ ГЛАВЫ этой документальной повести. Вот и сейчас, в воскресенье 2 августа 1987 года, разворачиваю свежий номер «Московской правды» со статьей

И. Краснопольской «Командарм», и смотрит с газетной полосы красивое, умное, интеллигентное лицо Тухачевского, смотрит, может, это мне сейчас кажется, грустным взглядом. Случайно уцелевшая фотография командарма — с четырьмя ромбами в петлице. И снова — трагическое, связанное с репрессированным маршалом и с домом на набережной, он тоже там жил, когда Збарские брали до утра детей арестованных в эту ночь родителей.

Арестован был маршал Тухачевский в 1937 году,

> «не только он сам, но и его жена, чуть позднее дочь, мать, сестры, братья, мужья сестер и жены братьев, шофер, жена шофера… Лишь через годы, когда справедливость, законность были восстановлены и три уцелевшие сестры, дочь вернулись в Москву, удалось по крохам собрать хоть что-то. Фотография Михаила Николаевича, которую мы сегодня публикуем, уцелела случайно»…
>
> «…В 1937-м 12-й подъезд Дома на набережной по существу ополовинили. На доме сейчас 24 мемориальные доски. Фамилии, должности, годы жизни. Горько: многие жизни оборвались в 1937 и 1938 году. Каждая эта жизнь достойна нашей памяти».

Нужны ли комментарии?

Смолоду я был пленен фигурой Тухачевского, который в двадцать семь лет командовал Западным фронтом, был любимцем Ленина, именно его Ленин назначил одновременно командующим Седьмой армией, когда начался кронштадтский мятеж. В киносценарии «Весна двадцать первого», написанном об этом тяжелом испытании для всей партии, пославшей на кронштадтский лед триста делегатов Десятого съезда (половину этого съезда), я постарался изобразить Тухачевского, запечатлеть черты командарма, человека, подчеркнуть отношение к нему Ленина, его веру и любовь к молодому полководцу.

Сценарий был написан и принят «Мосфильмом» несколько лет назад, полностью опубликован в альманахе «Киносценарии» в 1984 году и… лежит на «Мосфильме» по сей день. Ленинградские власти сочли ненужным изображать кронштадтский мятеж, зачем эти черные пятна революционной истории?

И наложили постыдный запрет на одну из легендарных страниц в сложной жизни государства…

Что ж. Сейчас публикуются ранее не опубликованные романы, повести, стихи. Они ждали по двадцать, по тридцать лет и больше. А тут — всего лишь четыре года. Авось когда-нибудь и этот запрет будет снят…

Имя же Тухачевского останется — навечно…

10 ФЕВРАЛЯ 1948 ГОДА.

И вновь, как и полтора года назад, когда было опубликовано постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», — утренний тревожный телефонный звонок Бориса Ильича.

— Читали сегодня газеты?

Грустно отвечаю:

— Читали.

— А как же Седьмая симфония Шостаковича?

Молчу.

— Вы ведь ее слушали, вы рассказывали, в осажденном Ленинграде?

— Да, с Вишневским, Ольгой Берггольц и Александром Кроном мы были на ее исполнении в зале Ленинградской филармонии.

— Зачем же так? Молчу.

Постановление об опере «Великая дружба» В. Мурадели.

> «…Провал оперы Мурадели есть результат ложного и губительного для творчества советского композитора формалистического пути, на который встал т. Мурадели».
>
> «Еще в 1936 году, в связи с появлением оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в органе ЦК ВКП(б) «Правда» были подвергнуты острой критике антинародные, формалистические извращения в творчестве Д. Шостаковича и разоблачен вред и опасность этого направления для судеб развития советской музыки».

Я был на премьере этого выдающегося спектакля в Ленинграде в Малом оперном театре. Опера была вскоре напрочь запрещена, и мне посчастливилось вновь насладиться гениальной музыкой уже в Москве, в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко — конечно же после Двадцатого съезда…

Читаем дальше — из постановления:

> «Особенно плохо обстоит дело в области симфонического и оперного творчества. Речь идет о композиторах, придерживающихся формалистического, антинародного направления. Это направление нашло свое наиболее полное выражение в произведениях таких композиторов, как тт. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский

и др.».

Названы все подряд крупнейшие композиторы, составлявшие и поныне составляющие гордость русской и советской музыкальной культуры.

> «Эта музыка, — говорится в постановлении, — сильно отдает духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик».

Имя Шостаковича упоминается в этом постановлении трижды и только в негативном смысле…

Читаешь и не веришь глазам.

Ведь в самые трудные годы войны, в той же «Правде» 30 марта 1942 года, в статье Емельяна Ярославского Седьмая симфония названа «симфонией всепобеждающего мужества». Накануне, 29 марта 1942 года, в той же «Правде» сам Дмитрий Дмитриевич пишет:

> «Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу — Ленинграду я посвящаю свою 7-ю симфонию».

Величайшая исповедь и величайшая проповедь, вершина могучего, шагающего через годы и границы творчества, подвергаются критике столь же грубой, сколь и несправедливой.

Та же участь постигает в этом постановлении и С. Прокофьева, и А. Хачатуряна, и В. Шебалина.

Перечитывая теперь все эти кажущиеся неправдоподобными, злые и безапелляционные формулировки, рассматривавшиеся тогда как истина в последней инстанции, задумываешься: откуда явилась эта столь раздраженная, злобная интонация такого рода постановлений? Их ведь было не одно и не два.

Неужели последствия все той же, с каждым днем растущей подозрительности, страсти к шельмованию неповинных людей, искренних патриотов своего Отечества, какими были всегда вышепоименованные прозаики, поэты, композиторы, режиссеры?..

И Шостакович, и Зощенко, и Ахматова, и Эйзенштейн, и многие, многие другие, вызвавшие неуемный верховный гнев?

Кому на пользу была эта ярость, направленная на своих, именно на своих людей?

Прав был Н. С. Хрущев, когда (помнится, я был на этой встрече писателей с ним летом пятьдесят шестого года) он

сказал:

— Сталин бил по своим.

Да, он бил по своим, и далеко не только в искусстве, хотя и в искусстве — тоже…

И надо было только поражаться и восхищаться всепобеждающим оптимизмом народа, несмотря на все, живущим с радостным ощущением величия добытой им, народом, победы над фашизмом, повергшим в рабство всю Европу, надо было низко поклониться ему, народу, который сеял, строил, созидал, поднимал из руин города, только ему, народу, мы обязаны тем, что страна, вопреки всему, пройдя сквозь пламень войны, не сгинула, но, напротив, стала мировой, сильной державой, заставившей считаться с нею все континенты.

Это так, и с этим спорят только те, кто хочет видеть черное белым и белое черным…

ПРИ ТЕМНЫХ И ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ в 1948 году погибает С. М. Михоэлс.

Он был членом Комитета по присуждению Сталинских премий и вместе с театральным критиком Владимиром Голубовым-Потаповым (я знал Голубова еще с давних пор по совместной работе в «Ленинградской правде») приехал в Минск смотреть спектакль, выдвинутый на премию.

Ночью они оба возвращались откуда-то из гостей и на неосвещенной улице их сбил грузовик, насмерть.

Театральная Москва потрясена. Михоэлса любили. Как личность. Как художника. Как патриота Отечества.

Траурный митинг был в помещении Камерного еврейского театра, там, где теперь Театр на Малой Бронной.

Во дворе правления Союза писателей на улице Воровского я встретил Александра Фадеева. Лицо его было печально. Он сказал, что идет на гражданскую панихиду, и пригласил меня с собой. Мы пошли туда пешком известным ему кратким путем.

Фадеев был подавлен.

Толпа у театра запрудила улицу. Конная милиция с трудом устанавливала порядок. Наконец нас впустили в зал, и я сразу же увидел рядом с открытым гробом, среди близких и родственников, недвижно стоящего Бориса Ильича Збарского. Он, чуть наклонившись, всматривался в своего друга.

Потом — сам Борис Ильич об этом не сказал ни слова — я узнал, что лицо Михоэлса было так разбито, что Збарскому стоило немало усилий сделать все возможное для открытия гражданской панихиды. Он с помощниками сутки не приходил

домой.

Фадееву было тут же предоставлено слово.

— Ушел от нас прекраснейший художник, осиянный славой, величайшей славой, выпадавшей на долю немногих избранных, на долю тех мастеров, о вдохновенном творчестве которых будут написаны книги, чьи имена будут долго, века, быть может, живы для всех, кому дорого искусство.

Фадеев говорил, что Михоэлс был человеком исключительной цельности, сочетавшим огромное жизнелюбие с необычайной душевной чистотой, потому-то и был он непререкаемым авторитетом для всех работников искусств…

> «В последний дальний путь Михоэлса провожали искренние его почитатели, — писал тогда, в 1948 году, Леонид Леонов, — люди всех национальностей, всех возрастов, профессий, различных творческих убеждений. Они пришли отдать его праху последний долг благодарности и скорби. Художественная Москва хоронила не только блистательного артиста и режиссера — художественная Москва хоронила народного артиста Советской страны, художественная Москва хоронила Человека, Брата и выдающегося современника…»

Как-то спустя несколько дней я спросил Бориса Ильича, что он все-таки думает о катастрофе в Минске.

Посмотрел на меня долгим пристальным взглядом и — ничего не ответил.

Я не услышал никакого ответа и от Льва Шейнина, тогда бывшего в высоком прокурорском чине и специально ездившего в Минск для расследования обстоятельств у… чуть не сказал — убийства.

И он ответил на мой вопрос молчанием.

Да уж, гласность была в те времена не в почете.

Более чем.

Не прошло и недели, как мы встретились на квартире у Вишневских в Лаврушинском — у них был в тот вечер Фадеев, а мы пришли с Борисом Ильичом Збарским.

Маленькая столовая их большой квартиры украшена несколькими эскизами, и в этот вечер особо пристальное внимание привлекали два из них, работы Александра Тышлера, подаренные этому дому. Первый — эскиз костюма Михоэлса в роли Короля Лира, второй — эскиз костюма В. Зускина в роли Шута.

Время от времени разговор в столовой возвращался к недавнему событию…

Я смотрел на эскизы и вспоминал живого Михоэлса и тогда еще живого Зускина, и того, и другого постигла трагическая судьба. Зускин был арестован и расстрелян.

Потом, спустя лет восемь, Маргарита Алигер опубликует стихи.

Милые трагедии Шекспира!
Хроники английских королей!
Звон доспехов, ликованье пира,
Мрак, и солнце, и разгул страстей.
Спорят благородство и коварство,
Вероломство, мудрость и расчет.
И злодей захватывает царство,
И герой в сражение идет.

И в финале:

Не мешай в событьях разобраться
Сильным душам, пламенным сердцам.
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось вашим мудрецам.

…Фадеев был грустен, читал стихи, Борис Ильич с огромным интересом смотрел на него.

Фадеев всегда был мне очень дорог, не забуду блокадные вечера с ним в холодном номере гостиницы «Астория»…

…Открываю только что принесенный «Огонек», № 31, август 1987 года.

В разделе «Наследие», в двух номерах, опубликована «Смерть героя» Ивана Жукова, несколько страниц из жизни Александра Фадеева.

«Три разных писателя сложной судьбы — Михаил Зощенко, Борис Пастернак и Павел Антокольский, глубоко переживая его гибель, скажут о нем в письмах одинаково, с болью: «Бедный Фадеев».

«И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, — пишет Борис Леонидович Пастернак, — в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну, вот

все кончено. Прощай, Саша».

Закрываю журнал. Бессонница. Выстрел раздался 13 мая 1956 года.

Прощай, Саша.

В 1950 ГОДУ Я ВЕРНУЛСЯ ИЗ ЛЕНИНГРАДА, где шли в Большом драматическом театре последние репетиции перед предстоящей премьерой моей исторической драмы «Флаг адмирала».

Пьеса эта в этом же году была напечатана в ленинградском журнале «Звезда», том самом, фигурировавшем в постановлении ЦК, где и я, походя, был обруган за мой скромный рассказ «Лебединое озеро»…

Премьера «Флага адмирала» была первой премьерой этой пьесы, потом уже последовали спектакли в Центральном театре Советской Армии и в Московском театре киноактера, и было естественно мое предпремьерное волнение, знакомое каждому, даже не начинающему автору.

Борис Ильич, живо интересовавшийся моей драматургической судьбой, потребовал, чтобы я немедленно поделился с ним своими впечатлениями, и мы с женою отправились к нему в Серебряный Бор.

С удовольствием рассказал ему, как я еще в октябрьскую ночь сорок первого года в Кронштадте, будучи арестован из-за отсутствия ночного пропуска матросским патрулем, до выяснения моей подозрительной личности отправлен до утра в маленькую комнатку в Доме Флота, где у камелька для растопки были приготовлены пожелтевшие дореволюционные газеты, в том числе и «Кронштадтский вестник». В нем я прочел с увлечением дневники адмирала Данилова, описывавшие жизнь Федора Федоровича Ушакова, о котором я не имел, стыдно признаться, никакого представления. И тогда еще возникла мысль — «если буду жив» — написать о его судьбе, странно похожей на судьбу Суворова…

Несколько лет работал я над историческими материалами, и вот — первое в стране представление драмы…

Борис Ильич был обрадован, что спектакль удался, от души поздравлял и вдруг заметил, что я что-то хотел сказать, но, начав, смолк, и понял: я чем-то был озабочен.

Так и было. Наряду с праздничным настроением премьеры на Фонтанке меня не покидало давнее чувство тревоги, я был до крайности расстроен упорно ходившим там, в Ленинграде, неясным, но крайне неприятным слухом.

В ленинградской прессе — ни слова, однако слухи ползли все упрямей — о каком-то немыслимом, невероятном по своему существу якобы происходящем, или происходившем, или предстоящем в городе судебном процессе.

Будто бы на скамье подсудимых сидят руководители ленинградской обороны, ни больше ни меньше.

Борис Ильич слушал меня с напряженным вниманием.

В числе обвиняемых якобы такие люди, как П. Попков и А. Кузнецов, с этими именами был связан любой из девятисот дней ленинградской обороны, имена, хорошо известные любому ленинградцу, прошедшему блокаду.

Ведь Петр Сергеевич Попков был все месяцы осады председателем Ленинградского Совета, а потом, с 1946 года, — первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии.

Александра Александровича Кузнецова я знал лично, еще когда он был назначен первым секретарем одного из ленинградских райкомов, помню его приход в Дом писателей на встречу с литераторами, все обратили внимание на его живую речь, лишенную стандартов, пустословия, подкупавшую конкретностью и свободной манерой, — сидевший подле меня Михаил Михайлович Зощенко наклонился и шепнул: «Внушает доверие».

Помню и то, как А. А. Кузнецов сердечно и деловито отнесся ко мне, когда я вернулся с зимней финской войны и у меня вскоре в битком набитом трамвае вытащили документы и, главное, партийный билет. Тогда это грозило суровыми последствиями, вплоть до исключения, разборами дела у себя в парторганизации, потом на бюро райкома и т. д. и т. п. Я ушел на войну добровольцем, мерз в снегах на петрозаводском направлении фронта, работая в газете-дивизионке литсотрудником, и, возможно, еще и потому А. Кузнецов учел и это обстоятельство и пренебрег всеми полагающимися и мучительными процедурами, приказал выдать мне новый партбилет сразу. Впрочем, вскоре сердобольным и сознательным вором старый партбилет был подброшен в почтовый ящик и возвращен в райком.

К началу войны А. А. Кузнецов был уже при А. Жданове вторым секретарем Ленинградского областного и городского комитетов партии, ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, он был членом военного совета Ленинградского фронта, известен своей смелостью, бывал не однажды в полках, батальонах, ротах, на передовой, а в 1946 году переехал в Москву — уже в качестве секретаря ЦК КПСС.

К этой фамилии прибавилась, по слухам, и другая, не менее

примечательная.

Николай Вознесенский, бывший ленинградец, академик Академии наук СССР, с 1938 года председатель Госплана СССР, с 1939-го — заместитель председателя Совета Министров СССР, в 1942—1945 годах член Государственного комитета обороны, с 1947 года — член Политбюро ЦК КПСС. Ему же принадлежала известная в годы после войны серьезная теоретическая книга «Военная экономика СССР в период Отечественной войны».

И такие люди — на скамье подсудимых?

Борис Ильич слушал да только молча качал головой.

Слух шел о том, что все они якобы были в заговоре, стремились превратить Ленинград в столицу России, создать, таким образом, вторую столицу, противостоящую первой…

И что их ждет высшая мера.

Я так разволновался, что не мог продолжать.

— Что же это такое?.. — тихо спросил Збарский.

Наступило тяжелое молчание.

— А знаете, — сказал я, — ведь вот что характерно. В дни войны и блокады мы почти ничего не слышали об арестах врагов народа, да и врагов народа, кроме нескольких жалких ракетчиков, что-то не помнится в мужественные и трагедийные девятьсот дней осады…

Борис Ильич встал, прошелся, заглянул в соседнюю комнату, там сидел, как обычно, офицер «охраны объекта», каким являлся сам Борис Ильич.

Збарский помедлил, постучав по стенке и усмехнувшись, показывая, что она, быть может, прослушивается, и вполголоса, но достаточно четко сказал:

— На всех нас надвигается новый тридцать седьмой год. Можете мне поверить на слово, это так, а не иначе. И то, что вы рассказали, — живое тому подтверждение.

…Пишу эти строчки, прерываю, заглядываю в Советский энциклопедический словарь издания 1983 года.

У всех трех названных мною видных деятелей государства — одинаковые даты смерти.

Не берусь называть всех обвиняемых этого так называемого «ленинградского дела», я их не знаю, но они были, были, были…

И терзающая душу боль, неутихающая печаль и мучительная горечь потерь, глобальных и личных, незримо и непрестанно были с нами…

В Ленинграде за девятьсот дней погибли сотни тысяч людей, сраженных голодом, холодом, вражескими воздушными и артиллерийскими обстрелами, в битвах у городских порогов.

Обвиняемых по «ленинградскому делу» расстреляли свои…

Збарский был прав. Надвигался новый 1937 год.

А быть может, кому-то это было нужно — подбрасывать в адскую печку новые и новые поленья, разжигая подозрительность, ослабевшую было, когда шла война, сплотившая народ в невиданном единстве и не позволявшая развиваться этим жутким свойствам натуры?

Быть может…

А мы продолжали работать и жить недавним восторгом Великой Победы, под мирным синим небом, отбрасывая дурные предчувствия, и трудились, и шутили, и смеялись, и собирались дружными шумными компаниями, и ездили в отпуск купаться в Крым и на Кавказ, и ходили в театры, и смотрели фильмы, и читали книги, и слушали концерты, и наслаждались просто общениями, без которых жизнь невозможна и скудна…

Таково уж было наше поколение, — не сломить, не поколебать веру в то, что дали давние, ленинские годы…

ПРОГНОЗ И ПРЕДВИДЕНИЕ надвигающихся новых апокалипсических времен, сделанные Борисом Ильичом, подтвердились его собственной судьбой.

Ни у нас, ни у него на все это фантазии недостало.

В начале пятьдесят второго года Збарский был арестован.

Зачем? За что? Как решились снять со священного поста часового?

За месяц до ареста Борис Ильич заболел.

Ночью — внезапный острый приступ холецистита. Воспаление желчного пузыря.

Уже в девять утра он на операционном столе у А. Н. Бакулева, знаменитого хирурга, собрата Бориса Ильича по академии.

Операция проходит блестяще. Через неделю его, по настоятельной просьбе, транспортируют домой. Состояние удовлетворительное.

Каждое утро начиналось с того, что мы звонили и спрашивали:

— Как здоровье Бориса Ильича?

Евгения Борисовна отвечала односложно:

— Слабость.

Однажды, когда мы позвонили как обычно, Евгения Борисовна на наш вопрос молча повесила трубку.

Решили — нас разъединили. Позвонили снова. Трубка снова была брошена.

Что это могло означать? Неужели — смерть?

Сразу же позвонили на его кафедру. Трубку, как всегда, взяла его секретарша.

— Кира Михайловна, что случилось? Звоним Борису Ильичу, Евгения Борисовна молча вешает трубку.

Пауза.

— Александр Петрович… Людмила Яковлевна… Больше туда не звоните. Вы меня слышите? Не звоните.

— Слышу, — сказал я. — До свидания.

…Недавно оперированного, еще не вставшего на ноги больного спустили вниз, к ждущей у подъезда карете, и отвезли на Лубянку.

…Спустя несколько месяцев, вечером, пришли за Евгенией Борисовной.

Дома был десятилетний Витя. Старший сын Феликс с невесткой в театре, во МХАТе, смотрели Диккенса…

Начался обыск. Евгения Борисовна сидела в спальне, молчала. Когда пришедшие сообщили ей, что часть квартиры будет опечатана, решительно потребовала: «Перенесите в столовую рояль, моя невестка по профессии пианистка, рояль будет ей нужен». Тон ее был настолько категоричен, что тут же начали передвигать рояль. Она сказала: «Учтите, что, пока не вернутся сын с женою, они в театре, я никуда отсюда не двинусь, я должна оставить им десятилетнего Витю». Ее условия были молча приняты. Они ждали. Вернулись из театра старший сын с женой. Тотчас же все поняли. Прощаясь, Евгения Борисовна каким-то молниеносным движением успела передать невестке книжку в сберкассу, находящуюся у них в доме. Поэтому утром в сберкассе, куда еще не успели сообщить о ночном аресте, а доверенность была уже предусмотрительно сделана заранее, родные получили какую-то сумму денег, которые им были так необходимы для существования.

По рассказам невестки, Евгения Борисовна за все эти драматические минуты не проронила слезинки, была сдержанна и внутренне собранна, и даже пришедшие за нею не могли этого не ощутить. Все, что было описано при ее аресте, было конфисковано после ее осуждения…

МИХАИЛ ИЛЬИЧ РОММ снимал на «Мосфильме» по моему сценарию двухсерийную эпопею — «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы».

В эти труднейшие годы жизнь и работа свели меня с одним из крупнейших наших кинорежиссеров и личностью во всех смыслах замечательной.

Михаил Ильич — это череда знаменитых картин, в их числе такие, как «Пышка» по Мопассану, «Мечта», как «Ленин в

Октябре» и «Ленин в 1918 году», как «Улица Данте» и «Девять дней одного года», как документальная лента «Обыкновенный фашизм»…

Ромм снимал фильм в двух сериях.

Две серии — это было тогда настрого запрещено. Говорили вполголоса в кулуарах, будто бы запрет возник из-за того, что Сталину было утомительно смотреть «длинный кинематограф», и будто бы он выразил министру кинематографии И. Г. Большакову по этому поводу свое неудовольствие.

Но вот беда — нам с Михаилом Ильичом никак нельзя было уложиться в одну серию: в сценарии взят громадный и важный отрезок исторического времени, и Черное море, и Средиземное, действие и при Екатерине, и при Павле, и даже при Александре, и Турция, и Великобритания, и Рим, и Греция. Художественный совет министерства (он был создан по инициативе Сталина, раздраженного несколькими неугодными ему картинами, тотчас же раскритикованными соответствующими постановлениями) не позволил делать две серии, несмотря на все высказанные нами и Михаилом Ильичом упорные возражения. Голосование за одну серию было, как теперь принято говорить, «однозначным». Мы были в полном отчаянии. Министр после конца заседания подошел к нам, прощаясь, и, понизив голос, сказал:

— Напишите письмо Сталину. — И еще тише добавил: — Покороче.

После нашего поражения, так через недельку, секретарь министра позвонил, сказал, что соединяет с Большаковым.

— Товарищ Штейн, — сказал министр. — Письмо передано. До свидания.

Я уехал в Кисловодск, сокращать и портить сценарий.

Приехал туда знакомый кинорежиссер, сообщил невеселую весть. Все двухсерийные сценарии порублены, никакие доводы во внимание не принимаются.

А еще через два дня пришла «молния»:

«Разрешены две серии. Ромм».

Позже, в Москве, одержавший победу министр сказал мне по секрету: ему было ранее известно, что Сталин прочитал в той же ленинградской «Звезде» мою пьесу «Флаг адмирала», на основе которой был написан сценарий, пьеса понравилась, отсюда и дальновидный совет И. Г. Большакова — написать письмо.

Так что даже и тогда не было правил без исключения.

Торжествующие, мы с Михаилом Ильичом, после трех месяцев напряженного труда, представили снова художественному совету сценарий — но уже режиссерский и,

конечно, в двух сериях.

Кто-то из неосведомленных членов совета сразу же выразил свое, мало сказать, недоумение:

— Товарищи, признаться, я и не знаю, как расценить поведение автора и режиссера. Мы ведь единогласно проголосовали за одну серию! Что же это — вызов всем нам или демонстрация?

Тут председательствующий налил себе боржоми, отпил глоток и, постучав карандашом по столу, негромко, но внушительно сказал:

— Вопрос о двух сериях с обсуждения снимается. Какие будут замечания по существу?

И после небольшого замешательства члены художественного совета стали высказываться по существу.

НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ. Я жил тогда на улице Немировича-Данченко, в центре, а Михаил Ильич в Замоскворечье, на Большой Полянке. Тем не менее, начав снимать фильм на «Мосфильме», на Потылихе, он не однажды делал крюк, заезжая к автору перед съемкой очередной сцены проверить еще разок текст, что-нибудь поправить, что-то добавить или убавить — вот какие были идиллические времена мира, дружбы и согласия драматурга и режиссера…

Мы с ним, как правило, находили общий язык и он уезжал довольный.

13 января 1953 года раздался обычный в этот час роммовский звонок в дверь, я открыл — и не узнал Михаила Ильича.

Куда делись его мужественная осанка, живость взгляда, энергичность движений? Взгляд потухший, обычной собранности и подтянутости как не бывало, пальто на нем висело. Глянул на меня мертвым глазом.

И задал вопрос почти такой же, что не раз задавал в эти годы Борис Ильич Збарский:

— А вы что, «Правду» сегодня не читали?

И вынул из кармана пальто газету.

Бросилось, резануло название: «Арест группы врачей-вредителей».

С трудом дочитал я до конца сообщение ТАСС об аресте врачей, виновных в смерти А. Жданова и А. Щербакова. Они сознались во всем. И в том, что собирались умертвить Маршалов Советского Союза Василевского, Говорова, Конева. И что они — агенты международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт». И что получали указания через врача Шимелиовича и «еврейского буржуазного

националиста Михоэлса»…

В списке арестованных были названы известнейшие врачи, в том числе л е ч и в ш и е Сталина, — трое русских, шесть евреев.

— Вот так, Петрович, — устало произнес Ромм и посмотрел на часы. — Я опоздаю на съемки. — Он открыл дверь на лестницу, обернулся. — Это очень плохо. Это так плохо, что… — и, недоговорив, ушел не оглядываясь, только яростно хлопнул дверью…

В день годовщины смерти Ленина под его, Ленина, портретом был напечатан указ. Женщина-врач, фамилия ее — Тимашук. Ее наградили орденом Ленина — «за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

25 января 1953 года «Огонек» в передовой статье, названной «Бдительность и еще раз бдительность!» (с восклицательным знаком), подробно прокомментировал с связи с подвигом врача Тимашук злодеяния «извергов человеческого рода», «наемных агентов иностранных разведок», которые «растоптали священное знамя науки, осквернили честь ученых». «Группа извергов» состояла, оказывается, из «давнишних агентов иностранных разведок».

> «Жертвами этой банды пали товарищи А. А. Жданов и А. С. Щербаков. Врачи-убийцы установлением пагубного режима и неправильным применением сильнодействующих лекарственных средств довели до смерти выдающихся партийных деятелей. Преступники старались подорвать здоровье и вывести из строя руководящие советские военные кадры. Неописуемо чудовищны преступления врагов народа! Гнев и омерзение охватывают всех честных людей, узнавших о злодеяниях наемных убийц, скрывавшихся под личиной профессоров медицины…»

Читал ли Борис Ильич Збарский все это о «подлых отравителях, продавших душу и тело международному империализму», как было сказано в «Огоньке»?

Конечно же нет.

Он в это время не читал никаких газет, никаких журналов. Ни одна весть не доходила до него. Ничто, ничто, ничто, даже арест вредителей прошел мимо него.

Потому что он уже давно сидел арестованный, как злейший враг, в одиночке на Лубянке.

3 МАРТА 1953 ГОДА. Правительственное сообщение. У Сталина удар. Вся Москва, вся страна — в напряжении. Объявлены круглосуточные дежурства.

Ранним утром спешу сменить очередного дежурного, члена парткома, он — в Союзе писателей СССР, на улице Воровского, у телефона в кабинете генерального секретаря, Александра Александровича Фадеева.

Меня встречает дежуривший всю ночь член партийного комитета.

— Все, — говорит он коротко, передавая мне дежурство. — Скончался.

Заступаю на дежурство. И тотчас же — телефонный звонок. Беру трубку.

Фадеев.

— Это правда?

— Это правда.

— Еду.

…Подходят, один за другим, секретари Союза, члены партийного комитета.

Беспрерывные телефонные звонки.

Появился Александр Александрович.

Разговор негромкий, немногословный.

Идет речь о том, что нужен митинг — где, когда?

Дубовый зал? Он мал. Здания на улице Герцена еще не существовало.

Напротив Союза, на улице Воровского, — Театр киноактера; вместительный зал. Предлагаю его для митинга. Принято. Звоню моему соседу по дому, живущему четырьмя этажами ниже и хорошо знакомому, в то время директору-распорядителю Театра киноактера Игорю Владимировичу Нежному.

— Его нет. — И вешают трубку.

Звоню еще раз.

— Его нет. — И снова вешают трубку.

Я растерян. Звоню ниже этажом актрисе и художнице Анели Алексеевне Судакевич, самому близкому человеку Игоря Нежного. Она очень нервно, несвойственно ей отвечает:

— Не знаю, не знаю, ничего не знаю.

Уже наученный прошлым, понимаю: что-то случилось.

Наконец дозвонился директору Театра киноактера. Обо всем договорились. На мой вопрос о Нежном ответил:

— Нежного ночью взяли.

Значит, в ночь смерти Сталина в Москве шли аресты. Из

писателей знаю арестованных в эту ночь поэта А. Коваленкова и литературоведа И. Альтмана, были и другие…

Утром в зале Театра киноактера — митинг. Слова скорби чередовались с призывами к бдительности…

Колонный зал Дома союзов. Начался доступ.

Группа литераторов приглашена в правление Союза для поездки в Колонный зал, в почетный караул.

В автобусе тихо переговариваемся. Запомнился молчаливый Шолохов.

В комнате, где ждут своей минуты участники почетного караула, тихий разговор среди ученых, бальзамировавших Сталина. Здесь, в Колонном зале, перед открытием доступа был будто бы Збарский Борис Ильич с группой помощников.

Значит, Збарский жив! Конечно! Значит, ему было все поручено! Это естественно! Кто же, как не он! А главное — жив…

На самом деле не было ничего похожего. Збарский, как мы уже знаем, продолжал сидеть в своей одиночке, даже не ведая, что Сталин умер.

Отстояли в почетном карауле. Снимают траурные повязки. Вижу большую группу кинематографистов, здороваюсь, среди них Сергей Герасимов, Михаил Чиаурели, Михаил Калатозов, операторы, осветители. Им поручено снять документальный полнометражный фильм — «Смерть Сталина».

Съемки уже начали производиться по всей стране.

Этот фильм был сделан, но никогда не увидел экрана.

МЫ ЖИЛИ В ОЩУЩЕНИИ ВЕСЕННЕЙ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ ГРОЗЫ, следом за которой придет ослепительная синева чистого неба…

Потом Григорий Чухрай, автор «Сорок первого» и «Баллады о солдате», так и назовет свою картину об этих временах надежд и возрождения — «Чистое небо».

Каждую неделю происходило нечто ошеломляющее и вселяющее новые, светлые ожидания.

Вот уже и «врачи-убийцы» — не убийцы.

Полностью реабилитированы доктора — и те, которых уже не было на свете, и те, кто находился в заключении, в ожидании процессов, исход коих был предрешен.

И героиня Тимашук вовсе не героиня, а подлая лгунья и провокатор.

И с нее сорван орден Ленина.

Как карточные домики, сброшенные очистительной грозой, сыпались загодя составленные сценарии дутых дел.

Вот и авторов этих чудовищных сценариев постигло

беспощадное возмездие.

Один из особо выдвинувшихся и пользовавшихся высоким доверием в своей кровавой деятельности полковник Рюмин приговорен к высшей мере наказания. И об этом официально сообщено в прессе.

Возвращалась свобода невинно пострадавшим и ждущим своей злой и безнадежной участи честным людям с чистой совестью, которую нещадно давили сапогом беззаконий рюмины и их вдохновители. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам…»

Возвращались домой люди.

Одними из первых — те, кто были арестованы на всякий случай в ночь, когда не стало Сталина.

Николай Павлович Охлопков пригласил меня, жену и дочь в Большой театр на премьеру «Декабристов» Юрия Шапорина, либретто Алексея Толстого и Всеволода Рождественского.

Я знал Юрия Александровича Шапорина еще по довоенным ленинградским временам, он написал блистательную музыку к довольно слабенькой пьесе «Нефть», написанной мною в соавторстве и поставленной на сцене бывшего Александринского театра. Но знаменит он был, естественно, не этим спектаклем, а музыкой к «Блохе» по повести Лескова и к пьесам Шиллера, Шекспира, Пушкина, симфонией-кантатой «На поле Куликовом» на слова А. Блока и многими другими произведениями, однако сильнейшей и крупнейшей его работой была опера «Декабристы».

Опера пробивалась в свет с трудом, под вопросом, можно ли доверять сцену Большого театра такому «авангардистскому» режиссеру, в каких числился Охлопков.

Время помогло, и вот уже премьера «Декабристов» на сцене Большого театра — само по себе явление примечательное для этой классической твердыни.

Нельзя представить волнение, с каким и Шапорин, и Охлопков ждали этой премьеры. Сколько нервных клеточек было потрачено ими обоими в борьбе за то, чтобы опера наконец вышла на сцену.

И вот — вышла.

Мы с женой и дочерью приглашены заранее, билеты в седьмой ряд, близ правительственной ложи, Охлопков несколько раз звонил, с какого именно подъезда следует пройти, не забыть (на всякий случай) паспорта, ни в коем случае не опаздывать.

Спектакль начался.

В ложе все тогдашнее Политбюро в полном, как мне показалось, составе.

Опера идет со все нарастающим успехом. На сцене заговор

декабристов, я смотрю, слушаю с восхищением, не стану таить, нередко посматриваю на правительственную ложу.

Время от времени выходит и возвращается Булганин, о чем-то говорит, наклоняясь к Хрущеву, тот — к Маленкову, Булганин выходит, возвращается, опять наклоняется к Хрущеву…

И я наклоняюсь к жене и тоже шепчу ей:

— Что-то происходит — и не на сцене…

Идет, завершаясь овацией зала, любимая сцена Охлопкова — каре декабристов на Сенатской площади, двигающееся прямо на зал.

Успех великий и — заслуженный. Без конца вызывают — артистов, дирижера, музыкантов, выходят снова и снова кланяться Охлопков и Шапорин. Цветы дождем летят на сцену.

В правительственной ложе все аплодируют стоя, впрочем, время от времени наклоняясь друг к другу, и по-прежнему входит и выходит Булганин, министр обороны…

Ночью звоним Охлопкову. Он счастлив. Он хочет слушать еще и еще о спектакле, расспрашивает нас снова и снова, мы от всей души радуемся и гордимся его успехом…

Утром едем на дачу, выкатываем машину из гаража, рядом прогревает свой «москвичок» недавно возвратившийся из тюрьмы Игорь Владимирович Нежный, уже восстановленный на работе. Еще стрижен под машинку, еще не успели отрасти волосы.

Рассказываю ему о вчерашнем успехе «Декабристов». Неожиданный вопрос:

— А вы сегодняшнюю газету читали?

— Да.

— И официальное сообщение о том, кто присутствовал в ложе?

— Конечно, читали. Рады за Охлопкова и Шапорина.

— Я тоже рад, не в этом дело. Там не было одной фамилии.

— Ничего мы не заметили.

— А вы перечтите внимательно.

— Игорь, — говорю я улыбаясь, — вам мало того, что вы уже получили? Хватит болтать глупости.

— А вы куда собрались?

— На дачу в Переделкино.

— Поезжайте, это как раз по дороге, мимо дома, где живет Берия. И обратите внимание: около дома уже снята охрана.

Оказался прав.

В перечислении высоких лиц, присутствовавших на премьере, не было одной фамилии.

Берии.

Пока мы смотрели «Декабристов» и слушали арию о заговоре,

всесильный Лаврентий Павлович Берия уже сидел, арестованный, на командном пункте Московского военного округа в карцере.

В столицу на всякий случай были введены танки.

Но они не понадобились.

Никто не собирался его вызволять. А ближайшее его окружение тоже прочно сидело под замком.

А в августе в Коктебеле мы сидели с Катаевым и Погодиным на прибрежном песке и бросали горячие камушки в набегающую черноморскую волну. Я уже который раз, отвечая на любопытные вопросы, рассказывал детали про наше посещение премьеры «Декабристов».

Валентин Петрович Катаев, улыбнувшись свойственной ему одному лукаво-загадочно-обаятельной улыбкой, посмотрел на часы и сказал:

— А пока мы тут нежимся на пляже, там, в Москве, Лаврентий Павлович Берия сидит у себя в камере без пояса и, что самое главное, — без пенсне…

Как видите, наше повидавшее все и вся поколение, как правило, не покидало чувство юмора…

Возвращались люди.

Как-то летним вечером в Переделкине мы были званы на дачу к Николаю Федоровичу Погодину, с которым очень подружились, близко, семьями, в самом конце сороковых годов.

Там были гости.

И центром внимания, и сочувствия, и ласки были двое старых друзей Николая Федоровича.

Лидия Русланова и ее муж, кавалерийский генерал Крюков.

Уже не в том, «старом» тридцать седьмом, а именно когда, но прогнозу Бориса Ильича, «надвигался второй тридцать седьмой год», были взяты любимица народа, не раз бывавшая на фронте и завораживавшая бойцов своими песнями Лидия Русланова и славный кавалерийский воин, давнишний знакомый Г. К. Жукова генерал Крюков. Жуков же и разыскал его в пятьдесят третьем году.

Русланова сидела в тюрьме во Владимире и весть о 5 марта 1953 года услышала случайно — было открыто окно и из репродуктора донеслось официальное сообщение.

Вот так.

В эту пору не раз раздавались в моей квартире звонки людей, вернувшихся из лагерей, из тюрьмы, из ссылки, которых я уже перестал числить в живых.

Позвонила приехавшая из Ленинграда в Москву встречать своего мужа, писателя Александра Зонина, писательница Вера Казимировна Кетлинская.

Александр Зонин, о судьбе которого я подробно писал в «Повести о том, как возникают сюжеты», участник легендарного похода подводной лодки Л-3, награжденный за свою воинскую доблесть двумя орденами боевого Красного Знамени. Один за кронштадтский лед весны двадцать первого года, другой за подводный поход ранней весной сорок второго. Был арестован как враг народа. Уже после войны.

Вернулся и другой мой друг, воспетый потом В. Высоцким в песне, где говорится «и пострадавший от Сталина Каплер», тот самый, автор сценариев «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», награжденный орденом Ленина…

Его арестовали в разгар войны, 3 марта 1943 года, вскоре после того как он летал к партизанам в тыл врага, а потом был в Сталинграде как специальный корреспондент «Правды» и написал очерки о сражении на Волге. На него было заведено клеветническое досье, положено на стол Сталину — и вот уже пять лет лагерей… А когда кончились эти пять лет и в сорок восьмом он был освобожден и отправился, уже по служебной командировке администрации лагеря, в Москву, прямо с поезда пришел к нам в дом, а потом побывал у Симонова, у Фадеева, у Кармена, всюду его обнимали, целовали, жалели, дивились его несломленной жизнерадостности. И если спрашивали, как ему удалось ее сохранить, отвечал одно и то же:

— Всюду есть хорошие люди…

Он очень хотел повидать и порадовать своим возвращением престарелого отца, жившего в Киеве, сел в поезд и по дороге был снова взят, на этот раз «за нарушение паспортной системы», сняли с поезда и снова отправили. Уже — в другой лагерь. С другим режимом. В угольные шахты…

И вот в 1953 году 3 марта отсидел «свои» десять лет, «всего лишь» десять лет, ровно десять лет.

И срок его кончился, день в день, 3 марта, когда у Сталина был удар, надо же такое совпадение чисел…

Спустя два месяца после освобождения Алексей Яковлевич возвращается из Прокуратуры СССР, от того же Романа Андреевича Руденко, и, чтобы передохнуть от естественного напряжения, присаживается на скамейку в скверике у Большого театра и читает-перечитывает решение Прокуратуры СССР — о прекращении дела «за отсутствием состава преступления».

И не замечает, что рубашка его — мокрая от слез.

«За отсутствием состава преступления…»

Алексея Яковлевича выпустили — и дальнейшая судьба его известна не только друзьям, но и миллионам зрителей «Кинопанорамы», начатой им впервые, по его личной инициативе на Центральном телевидении… Он пишет снова сценарии, их ставят, пишет повести, их печатают, и уже после смерти Алексея Яковлевича выходит прекрасное двухтомное собрание его сочинений, с вступительной статьей поэтессы, его жены, Юлии Друниной…

Судьбы, судьбы, судьбы…

В КОНТЕКСТЕ С СУДЬБОЙ Бориса Ильича Збарского я читаю с пристальным вниманием статью «Генеральный прокурор», опубликованную в «Известиях» 30 июля 1987 года.

Автор статьи — главный редактор журнала «Социалистическая законность» И. Кондрашов.

Статья — к восьмидесятилетию Руденко Романа Андреевича, ушедшего из жизни в 1981 году.

Того самого, который возвратил Звезду Героя Борису Ильичу.

Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе военных преступников.

Он лично допрашивал Геринга и Риббентропа, Кейтеля и Фриче, таких свидетелей, как фельдмаршал Паулюс, сдавшийся под Сталинградом. И все-таки главным его делом была борьба за восстановление поруганной законности.

Ведь он был назначен Генеральным прокурором СССР в 1953 году. Именно в пятьдесят третьем, после марта.

> «Были пересмотрены дела незаконно осужденных граждан, их полностью реабилитировали, это имело огромное значение для судеб многих тысяч людей, для всего нашего общества».

Многих тысяч…

В их числе был и Збарский.

В места заключения, в лагеря выезжали специальные «тройки», разбиравшие дела, на это требовалось время…

«Известия» заключают свою статью, настойчиво подчеркивая сегодняшнюю задачу — обеспечить решительное улучшение стиля, формы и методов деятельности прокуратуры…

Этот стиль был и в том, как тогда, в кабинете, Р. А. Руденко встал и пошел навстречу приведенному к нему арестанту Збарскому.

ВЕРНУЛСЯ.

30 декабря одна тысяча девятьсот пятьдесят третьего года.

И предновогоднюю ночь встретил дома, на свободе, в отличие от предыдущих.

Вместе с вернувшейся Евгенией Борисовной.

Оба вернулись теми же и все-таки другими. Казалось, что и по росту они стали как-то меньше.

Борис Ильич говорил тише, жесты скупее, чаще молчал.

И в голове господствовала одна мысль.

Скорей все восстановить, приступить к работе.

Мавзолей.

Кафедра биохимии.

Лаборатория по злокачественным опухолям.

5 января позвонили, сообщено — есть приказ о восстановлении его на работе по кафедре биохимии.

На категорические рекомендации врачей «ни в коем случае не испытывать судьбу», не торопиться с работой, поехать в санаторий подлечиться, вместе с Евгенией Борисовной, которая тоже очень ослабела, он отвечал таким же категорическим «нет».

И только иногда, чуть усмехнувшись, говорил:

— Я уже отдыхал почти два года. Мне это решительно не понравилось.

Он спешил.

Он очень спешил.

Пока его еще не восстановили в партии.

И у него не было нового пропуска в Мавзолей, который был бы действителен круглые сутки.

Приближалась памятная дата.

27 января 1924 года.

День похорон Владимира Ильича Ленина.

Он был с ним, со спящим Лениным, спустя десятилетие.

Был с ним спустя двадцатилетие.

И вот пришло тридцатилетие.

Взяв с собою невестку, которая никогда не была в Мавзолее, отправился на Красную площадь. Они пришли, когда доступ уже давно кончился, площадь была пустынна. Борис Ильич показал разовые пропуска, помедлив, поглядел на слова ЛЕНИН, СТАЛИН, ничего не сказав, спустился с невесткой в траурный зал.

Рядом с саркофагом, с которым он расстался в начале пятьдесят второго года, стояла копия такого же саркофага, в котором был — Сталин.

Ученики Бориса Ильича профессионально выполнили задание. Ему не хотелось задерживаться у нового саркофага, не останавливаясь, прошел мимо.

Остановился около спящего Ленина, повернувшись к невестке, тихо заметил:

— Я был здесь в 1938 году с Надеждой Константиновной Крупской за полгода до ее смерти. Она взглянула на Владимира Ильича и сказала: «Борис Ильич, посмотрите, он все такой же, а я старею». Ей было тогда около семидесяти, как сейчас и мне. Теперь эти слова могу произнести я сам…

Борис Ильич возвращался домой взволнованный, вспоминал Тюмень, реальное училище, смену караула, тарелку радиорепродуктора, ожидания сводки Информбюро, голос Левитана…

ОН СПЕШИЛ.

На шумливое, грохочущее Садовое кольцо, где была созданная его руками, его мозгом, его сердцем кафедра биохимии, в этом здании рядом с планетарием, чуть не доезжая площади Восстания…

Каждый его визит сюда волновал и был опасен для здоровья. Его сразу обступали студенты, жали руку, заглядывали в глаза. Это было свыше сил. Жизненные лимиты уже на пределе. Но полагал, надеялся, все будет наоборот: общение с молодежью, с коллегами, работа, кафедра, — все вместе радикально восстановит его силы.

Он спешил.

Поехал и в Серебряный Бор, открыли запечатанную дачу, присел в кресло у камина, где мы так часто коротали милые и содержательные вечера, где рассказывал нам про свой Каменец-Подольск, и про Гершуни, и про академика Баха, и про житье во Всеволодо-Вильве, и про Ольгу Бакланову, и про транспорт нелегальной литературы через границу…

Позвонил нам как-то из Серебряного Бора, сказал:

— Ну что, может быть, приедете еще разочек посидеть у камина, авось я еще расскажу вам что-нибудь, за эти два года у меня было немало свободного времени, что-то припомнил и хочу вам дорассказать…

Мешали московские дела, московская суета, напряженная московская жизнь, работа над новой пьесой, — все откладывали, все собирались, да так вместе у камина в ту пору и не посидели…

Надеялись наверстать осенью, загодя уславливались вместе непременно встретить Новый год именно здесь, в Серебряном Бору…

В партии его все еще не восстановили. Нервничал.

Начался новый учебный год.

Наша дочь Татьяна — на втором курсе медицинского института.

Позвонила первого сентября, сказала:

— Сегодня была первая лекция Бориса Ильича. Завтра будет первое собрание кружка биохимии. Лекцию он читал блестяще. — Помолчав, добавила: — Мама, он очень устал… После лекции стоял на улице у подъезда, ждал машину, я его провожала, передавал вам приветы, а я невольно следила за тем, как он тяжело садился в машину. Мама, он очень устал… А помнишь, как он ехал сам за рулем к себе в Серебряный Бор? Он рассказывал, был воскресный день, к автобусу в Серебряный Бор стояла очередь. Борис Ильич увидел пожилого человека с маленьким мальчиком, затормозил, пригласил их в машину, довез до берега Москвы-реки, где неподалеку была его дача, собрался проститься со своими пассажирами, однако пожилой человек сказал удивленно: «То есть как? Мне нужно обратно. Я ведь только хотел показать внуку Москву-реку. Поехали — и обратно». Борис Ильич растерялся. «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным». Поехали так поехали. И повез дедушку с внуком назад в город.

«…Мама, он очень устал».

Устал и — спешил.

И нового пропуска «Действителен круглые сутки» у него все еще не было.

Только 23 сентября 1954 года он был наконец восстановлен в партии.

Сижу за письменным столом, стучу на машинке.

7 октября 1954 года.

Телефонный звонок. Татьяна.

— Срочно выезжайте. На кафедру. — Заплакала. — Умер Борис Ильич. Только что, — всхлипнула, бросила трубку.

Через минут тридцать были на Садовом кольце. Поднялись в кабинет рядом с лекционным залом. Следом вошли еще люди. Я увидел склонившуюся над ним Евгению Борисовну. Лежал на диване, на нем обычно отдыхал между лекциями. Если б не руки, сложенные крест-накрест, трудно было бы понять, что случилось.

Читал лекцию. Первую часть. Сорок пять минут. Вторая — должна была начаться после перерыва.

15 минут.

Хватило для того, чтобы уйти из жизни навечно.

Умер, как воин на поле чести, на кафедре биохимии медицинского института в перерыве между двумя лекциями…

Была гражданская панихида на Солянке, в актовом зале Академии медицинских наук, много венков, много печали, много искренних слез, потом было Новодевичье кладбище и —

последняя горсть прощальной земли.

И памятник встанет на Новодевичьем…

А у меня перед глазами — другой памятник.

ПРОПУСК № 22

Тов. Збарский Б. И.
Должность — профессор
Место службы — Мавзолей В. И. Ленина.

Нач. гарнизона и коменд. Моск. Кр.

(подпись).

А под фотографией человека с легкой улыбкой, с галстуком-бабочкой на белом воротничке, в графе «Действителен» от руки вписано:

«Круглые сутки».

Москва — Переделкино
1987

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Б. И. Збарский — гимназист. Каменец-Подольск. 1901 г.

Б. И. Збарский — студент Женевского университета. 1910 г.

Е. Г. Лундсберг, Б. И. Збарский, его жена Ф. Н. Збарская, Б. Л. Пастернак (слева направо). 1915 г.

Портрет Б. И. Збарского. Рисунок художника Л. О. Пастернака. 1915 г.

Л. И. Гавронский и Б. И. Збарский.

Ф. Н. Збарская и Б. И. Збарский.

В. П. Воробьев и Б. И. Збарский. 1924 г.

Ирина Петровна (жена И. Б. Збарского), Б. И. Збарский (на руках сын Виктор), Е. Б. Збарская (сидят); И. Б. Збарский,

Ф. Б. Збарский (стоят).

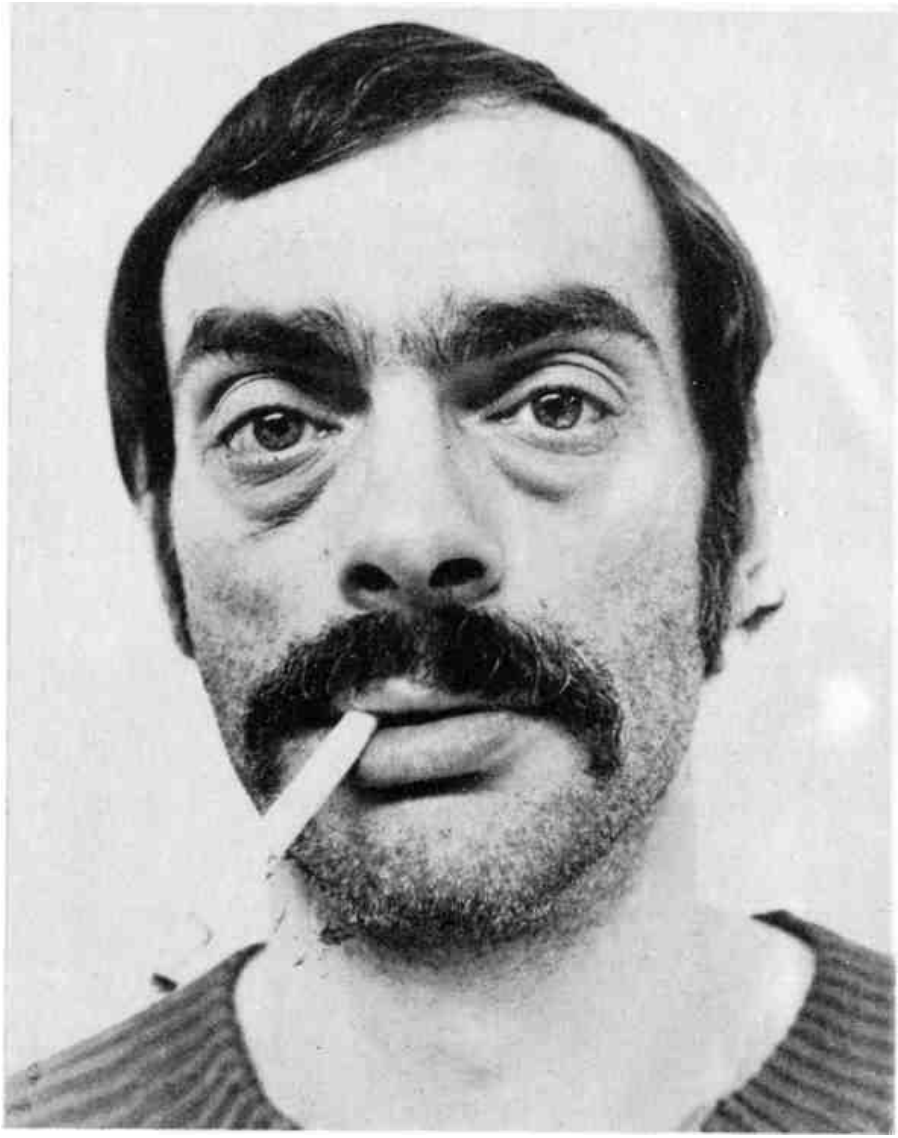
Б. И. Збарский, Ю. Ю. Джанелидзе, А. И. Абрикосов, Л. А. Орбели, А. А. Богомолец (слева направо).

Б. И. Збарский. 1945 г.

Б. И. Збарский. 1949 г.

Б. И. Збарский с сыном Виктором. Сочи.

И. Б. Збарский, академик АМН СССР.



Феликс Борисович Збарский.

Рисунки Ф. Збарского к «Метаморфозам» Овидия.

notes

Примечания

1

Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). Проф. Б. И. Збарский. «Мавзолей Ленина». ОГИЗ, 1944.